К. М. СТАНЮКОВИЧ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
МАЛЬЧИК

Константин Михайлович Станюкович
Севастопольский мальчик

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 8 мая 2002 года
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136632
Станюкович К.М. «Севастопольский мальчик»: Издательство «Советская Россия»; Москва; 1985

Аннотация

В повести нашла отражение оборона Севастополя в период Крымской войны 1853-1856 гг.

Мальчиком Станюковичу довелось быть не только свидетелем, но и посильным участником севастопольской обороны.

Писатель-демократ рассказал о героизме русского солдата и в то же время вскрыл военную и экономическую отсталость крепостнической России, которая и привела к поражению в Крымской войне.

Содержание

ГЛАВА I 8
I 8
II 15
III 36
IV 48
ГЛАВА II 53
I 53
II 61
III 70
IV 79
ГЛАВА III 82
I 82
II 91
III 96
IV 102
V 111
ГЛАВА IV 118
I 118
II 123
ГЛАВА V 145
I 145
II 150
III 154

ГЛАВА VI 163
I 163
II 166
III 175
ГЛАВА VII 179
I 179
II 182
ГЛАВА VIII 194
I 194
II 200
III 205
IV 211
ГЛАВА IX 218
I 218
II 223
ГЛАВА X 227
I 227
II 237
III 242
ГЛАВА XI 251
I 251
II 257
ГЛАВА XII 263
I 263
II 270
III 272

ГЛАВА XIII 277
I 277
II 283
ГЛАВА XIV 298
I 298
II 303
III 308
IV 313
V 317
VI 333
ПРИМЕЧАНИЯ 337

Константин Михайлович Станюкович

Севастопольский мальчик

Повесть из времени Крымской войны

ГЛАВА I

I

На окраине красавца Севастополя, поднимающегося амфитеатром, на склоне горы, лепились белые домишки матросской слободки, в которой преимущественно жили жены и дети матросов и разный бедный люд.

Перед одной из хаток, в роскошное сентябрьское утро 1854 года, стоял черномазый пригожий мальчик, здоровый и крепкий, с всклокоченными кудрявыми волосами и с грязными босыми ногами, в не особенно опрятной старой «голландке» и в холщовых, когда-то белых штанах.

На вид мальчику можно было дать лет двенадцать-тринадцать. Его загорелое лицо, открытое и смелое, с бойкими глазами, дышавшими умом, было озабочено.

По-видимому, мальчик кого-то поджидал, не отводя глаз с переулка, спускавшегося в город. Только изредка не без зависти взглядывал на средину узкой улицы слободки, где неподалеку играла в бабки знакомая компания. В ней «черномазый» был признанным ав-

торитетом и в бабках, и во всех проказах, и в разбирательствах драк и потасовок.

К нему уже прибегала депутация звать играть в бабки, но он категорически отказался.

– Маркушка! – вдруг долетел из открытого оконца слабый, глухой женский голос.

Черномазый мальчик вбежал в хату и подошел к кровати, стоявшей за раскрытым пологом, в небольшой комнате с низким потолком, душной и спертой.

Под ситцевым одеялом лежала мать Маркуши, матроска с исхудалым, бледным лицом, с красными пятнами на обтянутых щеках, с глубоко впавшими большими черными глазами, горевшими лихорадочным блеском.

Она прерывисто и тяжело дышала.

– Не идет? – нетерпеливо спросила матроска.

– Не видно, мамка! Верно, придет…

– Не зашел ли в питейный?

– Там нет… Бегал… Тебя знобит, мамка?

– То-то знобит. Прикрой, Маркушка!

Маркушка достал с табуретки старую шубейку, подбитую бараном, и накрыл ею больную.

Затем он поднес ей чашку с водой и заботливо проговорил:

– Выпей, мамка. Полегчает.

И с уверенностью прибавил:

– Скоро поправишься… Вот те крест!

И Маркушка перекрестился.

Больная ласково повела красивыми глазами на сына и отпила несколько глотков.

– Разве что не спустили тятьку с «Констенкина» по случаю француза… Видимо-невидимо пришло их на кораблях в Евпаторию с солдатами. Хотят шельмы на берег…

– Наши не допустят!.. – возбужденно проговорила матроска, сама торговавшая до последних дней на рынке разной мелочью. Как почти все на рынке, она повторяла, что французы и англичане не осмелятся прийти к нам, а если и осмелятся, то их не пустят высадиться на берег, и союзники с позором вернутся.

Разумеется, эти толки на рынке были отголоском того общего мнения, которое высказывала большая часть севастопольского общества.

Хоть Маркушка, как и подобало шустрому и смышленому уличному мальчишке, и видал на своем коротком веку кое-какие виды и кое-что слышал на Графской пристани и на бульваре, куда бегал слушать музыку по вечерам, – но еще не знал, что французы, англичане, турки и итальянцы уже беспрепятственно высадились первого сентября в Евпаторию [1] и, на-

[1] …еще не знал, что французы, англичане, турки и итальянцы уже беспрепятственно высадились первого сентября в Евпаторию… – Взять

правляясь в Севастополь, заняли позицию на реке Альме, ожидая русских.

И потому Маркушка не без хвастливого задора воскликнул:

– Сунься-ка! Их Нахимов [2] шуганет, мамка!

– Дай только ему волю. Шуганул бы…

– А кто может не дать воли… Сам царь ему Георгия прислал…

– Князь Менщик [3] не пущает, Маркушка…

Севастополь с моря оказалось очень трудно: с этой стороны он был хорошо укреплен. Поэтому союзники решили захватить город с суши, где он был весьма уязвим. С этой целью 2-5 сентября 1854 г., предварительно захватив небольшим отрядом 1 сентября Евпаторию, союзники высадили здесь свои войска, общей численностью около 70 тысяч человек, и от Евпатории двинулись по побережью на Севастополь.

[2] Нахимов Павел Степанович (1802-1855) – выдающийся русский флотоводец, адмирал, сторонник прогрессивного направления в русской военно-морской школе. Один из организаторов героической обороны Севастополя. После гибели В.А.Корнилова Нахимов встал во главе обороны. Погиб в Севастополе в конце июня 1855 г.

[3] Князь Менщик – так в просторечии именовали князя Меншикова Александра Сергеевича (1787-1869). А.С.Меншиков – русский военный и дипломатический деятель, пользовался покровительством Николая I. Во время Крымской войны, будучи главнокомандующим русскими вооруженными силами в Крыму, показал себя бездарным полководцем: не принял никаких мер к укреплению Севастополя, не воспрепятствовал высадке союзников под Евпаторией, очень неудачно руководил войсками в сражениях на реке Альме, под Балаклавой, под Инкерманом и т.д. Отличаясь крайней пассивностью, Меншиков фактически устранился от дела обороны Севастополя. В начале 1855 г. Николай I вынужден был снять Меншикова с поста главнокомандующего.

– Самый, значит, главный над всеми старик… Такой худой и храмлет… Видел его раз… Ничего не стоит против Нахимова.

– Лукав старик… Все хочет по-своему… И горд очень…

Матроска, повторявшая мнение о главнокомандующем князе Меншикове со слов мужа, лихого марсового на корабле «Константин» и пьяницы, причинявшего немало неприятностей своей жене и единственному сыну Маркушке во время загула, закашлялась и не скоро отошла и могла говорить.

Испуганная приступом кашля, больная с еще большим нетерпением ждала мужа, и ей казалось, что он нехорошо поступает… Дал знать через матросика, что забежит сегодня утром, а уж одиннадцатый час, а его нет…

И она сказала:

– Ты, Маркуша, думаешь, что тятьку не спустили на берег?

– Очень даже не спустили по случаю француза… Ни одного матроса нет в слободке… А то тятька бы пришел!

– А ты сбегай, Маркушка, на Графскую пристань… Шлюпку с «Костенкина» увидишь и скажи, чтобы тятька отпросился… Мамке, мол, недужно…

– А как же ты одна?

– Позови Даниловну… Посидит. Верно, дома?

– Куда идти старой карге! – не особенно любезно назвал Маркушка соседку, старую вдову боцмана.

И прибавил деловитым заботливым тоном:

– А без меня смотри потерпи, мамка! Ежели шлюпка с «Костентина» будет, духом обернусь! Молоко около тебя поставлю и воду.

Маркушка поправил одеяло и шубейку на больной, поставил у кровати кружку с молоком и чашку с водой, с серьезным видом потрогал голову матери и исчез.

Через минуту он сказал Даниловне:

– Присмотрите за мамкой, бабушка… Бегу в город…

– Зачем, чертенок? – сердито воркнула боцманша.

– Затем, что мамка послала… Посидите с ней… Будьте добренькая…

– Посижу… Плоха твоя мать… Ох, плоха…

– Вы, бабушка, перед ней не каркайте… Мамка выздоровит! – решительно вымолвил Маркушка, сдерживая желание обругать Даниловну одним из ругательств, имеющихся у него в памяти в большом запасе.

– И очень ты дерзкий, дьяволенок… Весь в отца-пьяницу… Мать твоя только хорошая… Для нее и войду… А вы оба…

Но конца Маркушка не слыхал.

Выйдя от Даниловны, он не удержался, чтобы не сказать на улице: «Старая ведьма!» И затем во весь дух полетел вниз по переулку.

II

Он спустился до Петропавловской красивой церкви, пробежал мимо каменной стены, окружающей большой сад, около дома командира севастопольского порта [4], – тот сад, куда нередко по вечерам перелезал через забор и лакомился виноградом и другими вкусными фруктами, – и когда вышел на главную улицу, то с галопа прямо перешел на шаг.

Во-первых, ему надо было отдышаться, а во-вторых, его поразило зрелище, которого он еще до сих пор не видал.

И он даже приостановился.

Он видел, что улица запружена матросами, которые на себе тащили большие орудия, и услышал, что орудия эти с кораблей и везут их на бульвар, чтобы поставить там, и на другие места на Южной стороне вокруг Севастополя.

Маркушка видел, как торопились куда-то адмиралы, направляясь по направлению к Графской пристани, заметил озабоченные их лица, обратил внимание,

[4] …пробежал мимо каменной стены, окружающей большой сад, около дома командира севастопольского порта… – В этом доме прошли детские годы писателя. О нем Станюкович часто вспоминает в своих произведениях («Червонный валет», «Побег», «Маленькие моряки» и др.). Командир порта – отец писателя, адмирал М.Н.Станюкович.

что и матросы очень серьезны, и, разумеется, подбежал к ним, чтобы увидать среди толпы матросов с «Константина».

Кто-то сказал Маркушке, что с «Константина» матросов еще нет.

Маркушка внезапно был охвачен тем же серьезным настроением, которое видел и сразу почувствовал и в матросах, и в офицерах, бывших при них, и в адмиралах, куда-то спешивших, и в партии арестантов, которые позвякивали кандалами на ходу, направляясь к себе домой на блокшив обедать после работ, и в конвойных, во всех лицах, которые в это утро встретил Маркушка на Большой улице. Если б он не несся во всю силу своих ног и своей здоровой груди из слободки вниз, то увидал бы и раньше встревоженные лица.

Маркушка встретил знакомых мальчишек, прибежавших поглазеть, и от них узнал, что «крупы» (солдат) нет. Все ушли прогонять француза и англичанина.

Но и уличные мальчишки уже не говорили с прежней самоуверенностью насчет того, что француза прогонят.

За это Маркушка их обругал, наскоро подрался с одним и вприпрыжку побежал на Графскую пристань, ловко проскальзывая между пешеходами на тротуаре.

Через несколько минут Маркушка добежал до белой колоннады перед Графской пристанью и, перепрыгивая ступеньки, спустился вниз.

Перед глазами Маркушки была знакомая картина.

Ласковая синева заштилевшего большого рейда, сверкающая под солнцем, и много военных кораблей. Вблизи у самой пристани, на мыске, каменный полукруглый форт, известный под названием Павловской батареи. Влево, у выхода в море, большие, каменные и такие же полукруглые форты в несколько ярусов со множеством амбразур, из которых чернели орудия, направленные к входу.

Никто в Севастополе и не мог подумать, что с моря может ворваться чей-нибудь флот перед этими тысячами орудий.

Никто не предполагал, что корабли придут с десантом, чтоб взять Севастополь сзади.

Маркушка стал спрашивать гребцов с военных шлюпок, дожидавшихся у пристани, нет ли шлюпки с «Константина».

Все отвечали отрицательно.

Маркушка смотрел на знакомый ему щегольский трехдечный корабль «Константин» под контр-адмиральским флагом на крюйс-брам-стеньге, который стоял вблизи Павловской батареи.

На нем, как и на других кораблях, шли работы по

подъему и спуску орудий на шаланды, стоявшие у бортов.

И Маркушка догадался, отчего отец не мог забежать к матери.

Но все-таки надо исполнить ее поручение и подождать: не придет ли шлюпка с «Константина».

А в ожидании Маркушка пошел с Графской пристани на соседнюю, откуда на «вольных» больших шлюпках пассажиры переезжали из города на Северную сторону, на противоположном берегу бухты. Там было несколько строений поселка, и оттуда шла почтовая дорога на Симферополь и дальше в Россию.

Маркушка удивился, что на Северную сторону много отваливало шлюпок с дамами, и с ними был багаж. Были и отставные офицеры с пожитками.

Он видел и большие шлюпки, нагруженные домашними вещами. Увидал проходивший мимо тяжелый военный баркас с дамами и детьми и на баркасе много сундуков и чемоданов; сзади подвигалась шаланда, нагруженная мебелью и экипажами.

Маркушка был заинтересован этим необычным наплывом господ. Господа редко переезжали на Северную сторону. Он знал, что обыкновенно пассажирами были татары с пустыми корзинами из-под фрукт и разный рабочий люд без поклажи.

Зачем господа уезжают из Севастополя, когда в

нем так хорошо? И погода не очень жаркая, и по вечерам музыка на бульваре, и фрукт так много.

Любознательному мальчику очень хотелось узнать, отчего вдруг собрались барыни, как звал Маркушка всех женщин в шляпках.

Но спросить было некого.

Знакомого перевозчика, отставного матроса, известного Маркушке под именем хорошего «дяденьки», который не раз даром перевозил мальчика на Северную сторону и обратно, когда он просил «дяденьку» позволить прокатиться по морю, и не раз разговаривал с ним и если ругался, то больше ласково, – этого «дяденьки» с его шлюпкой не было.

А он бы объяснил!

Но очень скоро знакомый худощавый старый перевозчик пристал к берегу с несколькими пассажирами с Северной стороны.

Он тяжело дышал, уставший после нескольких рейсов подряд. Пот градом катился по его изрытому морщинами лицу с маленькими острыми глазами и сизым крупным носом, и яличник наотрез отказался немедленно везти пассажиров, пока не «войдет в силу» после передышки.

Он тотчас же достал из шлюпки один из арбузов, взрезал его и стал есть сочные куски, закусывая их круто посоленным ломтем черного хлеба.

– Здравствуйте, дяденька! – обрадованно воскликнул Маркушка, подбежав к шлюпке перевозчика.

«Дяденька», которого по справедливости Маркушка мог бы называть дедушкой, кивнул мальчику коротко остриженной седой головой и вместо того, чтоб подать своему маленькому приятелю побуревшую, с вздувшимися жилами руку, протянул арбуз и ломоть хлеба и сказал:

– Закуси, Маркушка!

Маркушка немедленно впрыгнул в шлюпку и в минуту прикончил арбуз и хлеб. Затем, по-видимому, находя, что сидеть на банке для пассажиров неудобно, Маркушка вскочил на борт шлюпки, опустив ноги в море.

Маркушка озабоченно заболтал своими грязными ногами в воде и, повернувши всклокоченную голову, слегка прикрытую такою же измызганной матросской фуражкой, какая была и на затылке «дяденьки», спросил его, указывая арбузной коркой на публику, которая суетилась около шлюпок, нагружаемых пожитками:

– Куда это они повалили, дяденька?

– Пострел ты, Маркушка. С башкой мальчонка! А не смеканул? – протянул старик.

И, покончив с куском арбуза, не без иронической нотки в своем спокойном, ленивом голосе прибавил:

– Утекают из Севастополя.

– Зачем им утекать?

– Струсили… Опасаются, как бы французы их не забрали… Известно, дуры… Зря засуетились! – понизив голос, сказал «дяденька».

Маркушка соскочил с борта и подсел к «дяденьке».

– Да разве французы могут сюда прийти, дяденька? Ведь не смеют?

И глаза Маркушки засверкали.

– То-то посмели, Маркушка, ежели высадились. Жидкий, братец ты мой, народ, а поди ж – полагает о себе…

– Разве допустили, дяденька?

– Допустили… Может, заманивает Менщик, чтобы их сразу, подлецов, погнать домой… Не лезь, мол, в гости… Не приглашали!.. Менщик – старая лиса. Он их объегорит…

И, словно бы внезапно озлобляясь на что-то, старик возбужденно проговорил:

– А к Севастополю не подпустит… Не смеет. Ежели сразу и не прогонит француза, вернись сюда… Не оставляй без призора наш Севастополь! Не пускай сюда… французов да гличан. Только дай нам помогу… А матросики небось не отдадут Севастополя. Нахимов так и сказал: «Не отдадим, братцы!»

Маркушка жадно слушал старика и не мог сообразить, как это возможно, чтобы такой жидкий народ, как французы, мог прийти к Севастополю и чтобы наши не прогнали их немедленно, как только они высадились.

И хоть он и почувствовал, будто что-то неладно и французы могут прийти – недаром же «дяденька» допускал, что «старая лиса» сразу не прогонит, и недаром же барыни утекают, – но словно бы желая избавиться от этого чувства и подбодрить себя, Маркушка, взволнованный, со сверкавшими глазами, проговорил:

– Не отдадим, дяденька!

– То-то и есть… А это пусть опасаются которые трусы, Маркушка… Есть такие… Перевозишь… Наслушаешься разговоров… А ты, Маркушка, видно, прокатиться захотел? – спросил «дяденька».

Маркушка объяснил, зачем пришел. Он рассказал, как тяжело дышит мать и как долго кашляет, и, рассчитывая, что «дяденька» все знает, спросил:

– Ведь мамка не помрет? Вы как полагаете, дяденька?

– Зачем ей помирать? Она матроска молодая. Отлежится… Простуда и выйдет. Не сумлевайся, Маркушка… Молодца! Заботливый ты сынишка!

И «дяденька» потрепал Маркушку по спине и при-

бавил:

– Давай на «Костентин» смахаю. Отцу скажу, ежели пустят. Только вряд ли дозволят матросу на берег. Видел, какая спешка против француза…

– Спасибо, дяденька! – горячо промолвил Маркушка, тронутый предложением перевозчика. – Вот и катер отвалил с «Костентина». Попрошу гребцов… Прощайте, дяденька! Так мамка выправится, дяденька?

– Сказано – выправится! – уверенно ответил «дяденька», пожимая руку Маркушки.

И Маркушка побежал на Графскую пристань и спустился вниз.

Через несколько минут безукоризненной гребли двенадцати гребцов в белых рубашках на катере были сразу убраны весла, и катер, тихо прорезывая прозрачную синеву воды, остановился у ступеньки пристани.

Из катера выскочили два офицера – один постарше, другой молодой – и пожилой старший врач.

Увидав Маркушку, молодой мичман остановился и спросил:

– Ты что здесь делаешь, Маркушка?.. Иди за мной, чертенок. Опять дам записку снести, и получишь гривенник…

– Никак невозможно, Михайла Михайлыч!..

– Отчего?

– Мать очень больна и велела дать знать тятеньке на «Констентине»… Может, отпустят… хоть на полчасика. Попросите, барин, за тятьку. А я при мамке… хожу за ней.

– А как фамилия твоего тятьки?

– Ткаченко… фор-марсовой, ваше благородие!

Мичман достал из кармана книжку и карандаш, вырвал листок и на спине Маркушки написал просьбу отпустить на берег фор-марсового Ткаченко к умирающей жене.

«Умирающей» назвал добрый, жизнерадостный мичман для большей убедительности.

Он отдал записку унтер-офицеру на катере и велел немедленно передать старшему офицеру.

– Есть, ваше благородие.

А Маркушке мичман сказал:

– Твое дело сделано, Маркушка. Отца спустят на берег… Я прошу за него…

Маркушка благодарил.

– Доктор был у матери?

– То-то не был, ваше благородие.

– Дурак! Мне бы сказал. Иди за мной!

И, торопливо поднимаясь по лестнице, мичман кричал:

– Доктор! Иван Иваныч! Подождите!

Рыжеватый доктор остановился.

– Ну что вам, пылкий мичман?

– Не откажите, голубчик, посмотреть мать этого чертенка. Жена нашего молодца фор-марсового Ткаченки. Очень больна. Не встает с постели.

– Дюже исхудала! – вставил Маркушка.

Доктор спросил у Маркушки адрес и обещал быть скоро в матросской слободке.

– Так беги домой, Маркушка… И твой тятька и доктор придут… Обрадуй мать…

– И дай вам бог за вашу доброту, Михаил Михайлыч. Сколько вгодно буду носить вам письма.

– Скоро, Маркушка, не придется… А вот тебе гривенник… Купи себе чего хочешь.

Маркушка заложил монету для верности за щеку и пустился во весь дух домой.

Скоро, едва переводя дух, он вошел в комнату, положил на табуретку около кровати виноград и несколько груш и радостно произнес:

– И тятька придет… И дохтур будет… И дяденька-яличник сказал, что ты скоро оправишься – только вылежись, мамка! Дяденька понимает, не то что какие вороны…

Озноб у чахоточной прошел. Ей было лучше. Вести Маркушки значительно подбодряли матроску.

И, любуясь своим смышленым сыном, она с радостным восхищением проговорила:

– И какой же ты умный, Маркушка! И как ты все это обработал. Рассказывай… И откуда виноград?.. Откуда дули?.. Ишь побаловал мамку… Ешь сам, я немного…

– Не стибрил ли твой Маркушка у татар?.. Он у тебя, матроска, шельмоватый! – промолвила, тихо посмеиваясь, Даниловна.

– Вот и клеплешь, Даниловна… Ах, ядовитая ты какая!.. Это ты напрасно бога гневишь… Вовсе не хорошо… Мой Маркушка не таковский!.. – говорила, волнуясь и раздражаясь, больная.

– Брось, мамка… Пусть она брешет… Побрешет и уйдет! – презрительно кинул Маркушка.

И, не обращая ни малейшего внимания на старую боцманшу, достал из кармана штанов пару тарани и булку и сказал матери:

– Я, мамка, вот и тарани себе купил и булку для тебя… Попьешь с чаем… Знакомый мичман Михайла Михайлыч подарил гривенник… Страсть добрый… Встрелся на Графской… Он и исхлопотал, чтобы тятьку пустили к нам… Он и доктора испросил… Одним словом…

И, возбужденный, видимо торопясь рассказать матери все, что видел и слышал в это чудное сентябрьское утро, воскликнул:

– А что, мамка, в Севастополе!.. Француза-то допу-

стили на берег в Евпатории…

– Допустили? – протянула чахоточная.

– То-то допустили… И Менщик со всеми солдатами там… прогонять… Сказывают, француз жидкий народ… Прогонит обманом, если их много… И на улицах матросы… Орудии с кораблей везли… Чтобы поставить их кругом Севастополя. А многие, которые дуры, барыни наутек, зря струсили. Разве Нахимов пустит француза в Севастополь? Дяденька так и сказал, что никак невозможно!

Отрывочные, возбужденные слова Маркушки взволновали больную в первые мгновения.

Но уверенность чахоточной, которая и не допускала мысли о том, что дни ее сочтены, слышалась в ее проникновенном голосе, когда она проговорила:

– Не придет француз! Он безбожник! Господь нам поможет… Наша вера угодней богу.

И, выпростав из-под одеяла исхудалую бескровную руку, матроска перекрестилась; ее губы что-то прошептали – вероятно, молитву и о Севастополе, и о скорейшей поправке.

Маркушка никогда не думал о таких деликатных вопросах. Он, разумеется, не понимал, чья вера лучшая, так как дружил и с «дяденькой», и со старым одноглазым татарином Ахметкой, который нередко угащивал Маркушку в своей фруктовой лавчонке и виноградом

и попорченными фруктами, дружил и с портным евреем Исайкой, жившим в слободке, который дарил ему лоскутки, помог сладить большой змей и, посылая его с поручением, всегда давал три или пять копеек и в придачу еще – маковник или горсть рожков.

Но слова матери о французах были очень приятны Маркушке. Он перекрестился вслед за матроской и горячо воскликнул:

– Дай бог всех французов до одного перебить!

И, подсев к окну, стал чистить тарань, глотая слюни и предвкушая вкусную закуску.

Несколько минут царило молчание. Даниловна о чем-то загадочно думала, и злорадная усмешка кривила ее беззубый рот.

Старая, с угрюмым морщинистым лицом и злыми маленькими пронзительными глазами, похожая на ведьму, поднялась Даниловна с табуретки. Ее сгорбленная, приземистая и крепкая еще фигура выпрямилась и стала будто выше. И, обращаясь к больной, она заговорила, слегка шамкая, каким-то зловещим голосом:

– Видно, и милосердному конец терпению… Велики грехи Севастополя… И накажет за это господь… Ой, накажет!»

Матроска беспокойно вздохнула. Она чувствовала, что Даниловна закаркает, и в то же время не спускала

с нее жадно-любопытных и тоскливых глаз.

А Даниловна продолжала:

– Недаром дурачок Костя пророчил… Небось слышала, что говорил?

– Мало ли что брешет дурачок…

– Думаешь, мы умные? А он дурачок, может быть, блаженный, и бог ему внушает… Третьего дня его форменно «приутюжили» в полиции… А он никого не испугался… Поплакал и все свое бормочет… Неспроста, значит, говорит… И попомни, матроска… Быть великой беде… Не замолить грехов… Накопились на всех – и на вышних начальствах, и их барынях, и на матросах, и матросках… Господь и отступился… Может, князь Менщик изменщик перед нашим императором, ежели допустил высадку?.. Разве можно с моря допустить?.. Николай Павлыч прикажет Менщика в кандалы да с фельдъегерем прямо во дворец… «Как смел, такой-сякой, князь?..» А старый, что пустил француза, лукав, матроска… Отвертится от самого Николая Павлыча… Император не сказнит… А тем временем француз и турка нагрянут. Всех перекокошат. У француза такие ружья, что за версту бьют [5] и заговоренные Бонапартом – антихристом… Наш

[5] У француза такие ружья, что за версту бьют… – Французская и особенно английская армии были вооружены усовершенствованными боевыми винтовками системы Минье.

солдат и не видит француза, а у солдата пуля в самое сердце… Убит… И как войдут в Севастополь, сейчас турка всех жителев прикончит… без разбора сословий… Только каких молодых заберут и на корабль… вроде как в крепостные пошлют турецкому султану… И все разграбят… И камня на камне не останется… Дьявол-то во всей силе с французами объявится… Бог все ему позволит… Пропадай, мол, грешный город!.. А ты: не придут! Жалко тебя, хворая, что не скоро тебе оправиться… Ушла бы из Севастополя со своим щенком. А я оставлю дом и… гайда… Не согласна пропадать… Прощай!..

И Даниловна пошла в двери.

Ее слова произвели на чахоточную сильное впечатление. Поражен был и Маркушка.

Но, когда он взглянул на мать и увидел выражение ужаса в ее лице и слезы на ее щеках, он бросился к матери и сказал:

– Мамка! А ты не верь… ведьме. Она брешет!..

И затем подбежал к окну, высунулся в него и крикнул Даниловне:

– Ведьма!.. Ведьма! С перепуги набрехала… Ведьма! Старая карга! На том свете за язык привесят…

– Подлый щенок! Тебя первого француз убьет!.. – прошипела Даниловна.

– Он не придет… А вот я возьму да и убью ведь-

му… Только приди. Утекай лучше к французам… Сама французинька!

И Маркушка кричал, пока Даниловна не скрылась в своей хате:

– Ведьма-французинька… Ведьма-изменщица!

Матроска только простонала. Но не от боли, а от тоски и обиды за свое бессилие.

Еще бы!

Даниловна страшно накаркала Маркушке, и матроска не могла подняться с постели, чтобы по меньшей мере выцарапать глаза «подлой брехунье».

Но больная все-таки почувствовала значительное душевное облегчение, когда слышала, как хорошо «отчекрыжил» Маркушка старую боцманшу.

И с гордостью матери, любующейся сыном, радостно промолвила:

– Ай да молодца, Маркушка! Не хуже настоящего матроса отчесал ведьму.

– То-то! Не баламуть. Не смей каркать, изменщица! – все еще взволнованный от негодования и сверкая загоревшимися глазами, воскликнул Маркушка.

– Изменщица и есть…

– А то как же? По-настоящему следовало бы прикокошить старую ведьму… Как ты думаешь, мамка?

– Ну ее… Из-за ведьмы да еще отвечать?.. И так навел на ее страху… Не трогай… Слушайся матери,

Маркушка!

– Не бойсь, мамка… Не трону… Черт с ней, с ведьмой. Больше не придет к нам баламутить… Наутек поползет.

Матроска успокоилась и скоро задремала.

А Маркушка, уже отдумавший «укокошивать» Даниловну и довольный, что заслужил одобрение матери за «отчекрыжку» старой «карги», стал продолжать свой обед – тарань и краюху хлеба – и, прикончив его виноградом, тихонько подошел к постели.

Он взглядывал на восковое лицо матери. Он слышал какое-то бульканье в ее горле. И он невольно вспомнил слова Даниловны.

Сердце Маркушки упало. Ему стало жутко.

Он подсел к окну и жадно смотрел на безлюдную и безмолвную улицу – не проглядеть доктора.

Но страх понемногу проходил, когда Маркушка думал о том, что доктор, разумеется, быстро выправит мать какими-нибудь каплями. И она опять войдет в силу, станет крепкая и сильная, как прежде, и с раннего утра будет уходить на рынок к своему ларьку.

И он станет проводить время по-старому. Он опять будет с нею пить чай с горячими бубликами, с ней вместе уходить и заниматься своими делами. Он навестит Ахметку и Исайку, побывает на Графской: нет ли офицера, который куда-нибудь пошлет, заглянет

к «дяденьке» и прокатится на шлюпке, поглазеет на лавки в Большой улице, пойдет к матери на рынок пообедать с нею, потолкается на рынке, поиграет в бабки с товарищами в слободке, потом пойдет купаться на «хрустальные воды» – в затишье Артиллерийской бухты около рынка – и вечером на бульвар или на Графскую и спать домой.

«Разумеется, доктор выправит мамку, и дяденька говорил, что мать не умрет. Зачем ей умирать?»

И, успокоенный за мать, Маркушка уже не смущается более ни мертвенностью ее исхудалого, изможденного лица, ни слабостью, ни ознобом, ни свистом, вылетающим из ее груди, ни прерывистым, трудным дыханием.

И в голове Маркушки пробегали мысли о французе, которого пустили, о пушках, которые видел утром, о толпе, матросах, об отъезде барынь, о словах «дяденьки», о Менщике, ушедшем со всеми солдатами не пускать в Севастополь, о гривеннике доброго мичмана, об адмиралах, куда-то спешивших, о Нахимове, который обнадежен матросами.

А палящий зной так и дышал в маленькое оконце… В низенькой комнате охватывала духота… А Маркушка так устал, летавши во весь дух на Графскую в обратно.

И Маркушка перестал думать. Он невольно прикло-

нил лицо к подоконнику и моментально заснул.

III

– Протри зенки, Маркушка! – раздался над ухом мальчика грубоватый, с легкой сипотой голос.

Внезапно раскрывший глаза, Маркушка спросонья хватился бы затылком о раму низенького оконца, если бы большая, шершавая и вся просмоленная рука не лежала на его всклокоченной голове.

– Отчепни двери… А то дрыхнете, как зарезанные…

Маркушка сорвался с места.

– Кто там? – словно бы в полусне прошептала матроска.

– Тятька пришел! – радостно сказал Маркушка и побежал в сени снять щеколду с дверей.

– Ну, как мамка? – пониженным голосом, казалось, спокойным, проговорил приземистый, черный как жук матрос лет сорока, с загорелым смуглым лицом, заросшим черными волосами.

– Здорово исхудала… И не ест… Доктор придет сейчас.

– Доктор? Кто добыл?

– Мичман Михайла Михайлыч… Встрел на Графской, когда за вами бегал, и сказал, что мамка больна.

В знак одобренья фор-марсовой с «Константина»

Игнат Ткаченко, в белой праздничной матросской рубахе и в парусинных башмаках на босых ногах, потрепал по спине сына и вошел в комнату.

Целую неделю не видел матрос жены и, как увидал ее, то едва не ахнул – до того за неделю она изменилась.

Матрос понял, что в эту комнату пришла смерть.

Но он скрыл от больной свое тоскливое изумление, когда подошел к ней. Он только осторожнее и словно бы боязливо пожал ее восковую руку с желтыми длинными ногтями и с еще большего шутливой грубостью проговорил:

– А ты что это вздумала валяться, матроска?.. Ден пять тебе отлежаться и, смотри, опять во всем своем парате в поправку…

– То-то и я обнадежена… А ждала тебя… Думала: загулял…

– Дура ты, Анна, и есть… Не спускали… Оттого и не пришел. И сейчас отпустили всего на один час… Разве что завтра отпустят.

– То-то зайди…

– А то, думаешь, не зайду… Скоро и вовсе на баксион переберемся… Тогда буду забегать. По другой части будем… вроде как крупа… На сухопутье…

И матрос стал рассказывать, что приказано затопить несколько кораблей на входе на рейд и осталь-

ные корабли разоружить… Орудия со всех кораблей на батареи и матросов к своим пушкам… И Нахимов будет и на сухой пути начальником… И Корнилов [6] тоже. Башковатый адмирал… И оба они просили Меншика вытти всему флоту к французским и английским кораблям… Сцепиться, мол, с ними и – будь что будет, а изничтожить неприятельский флот… А Меншик не допустил. «Вы, говорит, адмиралы, зря только себя изничтожите… На них корабли все с машинами жарят под парами… Куда хотят, туда и иди, вроде как праходы… А вы-то что с одними парусами? Ежели ветра не будет – что вы поделаете?.. А он всех и перетопит… Будет себе палить, как ему вгодно, и шабаш!..» Нахимов и покорился… Ничего не поделаешь…

И матрос примолк.

– Так как же, Игнат? – спросила матроска.

– Насчет чего, Аннушка? – переспросил матрос, отводя взгляд, чтоб не смотреть на эти тревожные лихорадочные глаза, глубоко запавшие в глазницы.

– Значит, он придет к нашему Севастополю? Господь допустит?

– Ни в жисть! Нахимов с матросами не допустит.

---

[6] Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854) – выдающийся военно-морской деятель. Следовал прогрессивным традициям русской военно-морской школы. Во время Крымской войны руководил Севастопольской обороной. Погиб 5 октября 1854 г. в Севастополе.

Всех французов перебьет! – с задорной уверенностью и не без отваги воскликнул Маркушка, сообразивший, что отец не забегал по дороге в питейный и, следовательно, зря не треснет.

Однако на всякий случай Маркушка попятился к дверям.

Матрос не поднял своих клочковатых, нависших бровей, придававших его добродушному лицу свирепый вид, и не сжал руки в здоровенный кулак.

Он взглянул на Маркушку с какою-то ласковой жалостью, точно понимал, что мальчик скоро будет сирота.

Но для порядка отец все-таки не без строгости проговорил:

– Видно, давно не клал тебе в кису, Маркушка!

– На прошлой неделе наклали, тятенька!

– То-то давно! – усмехнулся матрос. – Вовсе ты стал отчаянный, Маркушка! Скажи пожалуйста, какой вырос большой матрос. Рассудил!

И, обращаясь к жене, прибавил:

– Не сумлевайся, Аннушка… не оконфузимся… Скоро обозначится война. Князь Менщик окажет, какой он есть генерал против французского, ежели к десанту не поспел… Еще, может, поправится… Ну и то, что у их все стуцера [7], а у наших таких ружей нет.

[7] Штуцер – нарезное ружье. Русские войска были вооружены уже уста-

У француза стуцер далеко бьет, а нашему ружью не хватает дальности. Вот тебе и загвоздка.

– Зачем же нашим не роздали стуцеров? – нетерпеливо спросил Маркушка.

– Ой молчи, Маркушка… Не перебивай… Съезжу!

– Слушай, что отец говорит, Маркушка! – ласково промолвила матроска.

Матрос продолжал:

– К строку не изготовили этих самых стуцеров. Солдатику и обидно. И ежели Менщик в полном своем генеральском понятии да скомандует: «В штыки, братцы!» – крупа не осрамит своего звания и врукопашную… Не так обидно… Француз – известно, жидкий народ – похорохорится… однако не сустерпят штыка… И драйка к своим кораблям и гайда домой… «Ну вас!.. Не согласны»…

Маркушка даже щелкнул языком от удовольствия.

Но Маркушкина спесь была значительно сбита, когда после минутной паузы отец раздумчиво проговорил:

– И опять-таки обмозгуй ты, Аннушка: какие есть генералы при солдатах? Есть ли при рассудке в них отчаянность и умеют ли распорядиться солдатом? Это как и по нашей флотской части. Ежели начальник с флотским понятием, зря не суетится – и матросу лест-

---

ревшими для того времени гладкоствольными ружьями.

но, и никогда он не обанкрутит начальника… За Нахимова Павла Степаныча куда вгодно… То-то оно и есть… Какое от Менщика будет одоление – скоро узнаем… Хучь и приди француз – а за Севастополь постоим… Живыми не отдадимся…

Несколько времени царило молчание.

– Завтра на баксион перебираться… – промолвил Игнат.

– А жить где? – спросила жена…

– В землянках…

– И харч, как на корабле?..

– Все по положению по морскому довольствию… И наш командир будет начальником баксиона… И прочие офицеры… палить будем, ежели француз придет… А за тобой, Аннушка, кто приглядывает? – вдруг спросил матрос.

– Да кто? Все Маркушка… Заботливый. Вроде как нянька ходит за матерью…

– А Даниловна?

– Сидела давеча, как Маркушка за тобой бегал.

– Небось больше не придет! – вмешался в разговор Маркушка.

– Отчего это?

– Она ведьма и изменщица… Я не пущу ее, тятенька! – решительно воскликнул Маркушка.

И, волнуясь и спеша, он рассказал, почему именно

Даниловна изменщица и злющая ведьма, и не отказал себе в удовольствии похвастать, как он «отчесал» боцманшу.

Слушая Маркушку, матрос только усмехался, видимо довольный не менее матери, что «мальчонка башковат, и пестует мать, и форменно изругал боцманшу».

– А какая она изменщица?.. По какой такой причине? Она, братец ты мой, не изменщица… Даниловна злющая и много о себе полагает. А за брехню ты, Маркушка, правильно отчекрыжил.

И, обращаясь к жене, сказал:

– Небось, как был жив боцман, она не посмела бы шипеть, как гадюка… У него рука была тяжелая… Держал свою гадюку в понятии… С рассудком был боцман… И пьянствовал в плепорцию.

В эту минуту к домику подъехали дрожки.

– Доктор, мамка! – доложил Маркушка и, просветлевший, побежал встретить доктора.

Пожилой сухощавый доктор с рыжими волосами и бачками вошел в комнату, потянул длинным носом, и на его лице пробежала гримаса.

– Ну и душно здесь…

– Точно так, вашескобродие! – ответил матрос, вытянувшись перед доктором. – И дух чижелый… – прибавил он.

– Твоей жене, Ткаченко, и дышать труднее… Как тебя, матроска, звать? – спросил доктор, приблизившись к больной.

– Анной, вашескобродие! – взволнованно и внезапно пугаясь, ответила матроска.

Доктор взглянул на ее лицо и стал необыкновенно серьезен.

– Ты, Анна, не волнуйся… Нечего меня бояться… Твой матрос знает, что я не страшный.

Рыжий доктор в белом кителе проговорил эти ободряющие слова с шутливой ласковостью. Но его мягкий голос слегка вздрагивал. Добрый человек, он был взволнован при виде умирающей молодой женщины, спасти которую невозможно и которой надо спокойно врать, чтобы она не отчаялась, узнав свой приговор. А бедняга как чахоточная, разумеется, и не догадывается, что дни ее сочтены.

– Не бойся, Аннушка… Господин старший доктур добер… Вызынает, что в тебе болит нутреннее, и поможет, – сказал Игнат.

– Я не боюсь, вашескобродие! – промолвила матроска слабым, глухим голосом и старалась приподняться, но не могла и бессильно уронила голову на подушку.

– Не подымайся… не надо, – приказал доктор.

И подумал:

«К чему беднягу беспокоить осмотром. Не все ли равно?»

Но добросовестность врача говорила о долге и об обязанности облегчить хоть последние минуты потухающей жизни.

И, по-прежнему необычайно серьезный и точно в чем-то виноватый, рыжий доктор еще мягче и ласковее проговорил, вынимая из кармана молоточек и стетоскоп:

– Вот послушаем, что у тебя, Аннушка… Не бойся… Не бойся…

Доктор опустился и приложил свое ухо к трубке, уставленной у груди… Слушал, потом постукивал, потом опять приложил свое ухо к сердцу Аннушки.

Она испуганно и стыдливо закрыла глаза.

Матрос напряженно-серьезно смотрел на лысую, блестевшую потом голову. Маркушка, напротив, был торжественно весел. Ему казалось, что доктор узнал, что внутри мамки, пропишет капли, и мамка пойдет на поправку.

Доктор поднялся, прикрыл одеялом матроску и увидал ее жадный вопросительный взгляд…

– Простудилась… Надо тебе полежать… Пропишу капли, и станет легче…

– И скоро можно встать, вашескобродие? – нетерпеливо спросила матроска.

– Скоро! – не глядя на больную, проговорил рыжий доктор.

Он отошел к окну, присел, отдышался, вырвал из своей записной книжки листок, прописал рецепт и, казалось, чем-то раздраженный, подозвал Маркушку.

– Беги в госпиталь, получишь даром пузырек с каплями и… А кто присматривает за матерью?..

– Я.

– Ты? – удивленно спросил доктор.

– Он башковатый, вашескобродие… Все время не отходит от матери! – серьезно промолвил отец.

– Ласковый! – протянула матроска.

Доктор потрепал Маркушку по голове и сказал:

– Как принесешь, дай матери десять капель в рюмке воды… Сумеешь отлить?

– Потрафит! – заметил Игнат.

– К ночи дать еще десять. Завтра утром опять десять капель… Мать лучше будет спать… Не буди… Понял?

– Понял… Мамка ведь скоро поправится от капель, вашескобродие?

– Да…

– Дай вам бог здоровья! – радостно проговорил Маркушка.

И сказал отцу:

– Тятенька! Пока буду бегать за каплями, спроворь-

те матроску Щипенкову посидеть около мамки… А я живо обернусь!

С этими словами Маркушка исчез и понесся вниз.

– Славный у тебя мальчик, Аннушка… Ну, поправляйся… От капель будешь спать. Сном и уйдет болезнь… Завтра заеду… Не благодари… Не за что!.. – проговорил доктор.

И, обратившись к матросу, прибавил:

– Перетащи кровать с больной к окну… И немедленно!..

– Есть, вашескобродие!

Доктор вышел. За ним пошел матрос и крепко притворил двери.

Доктор остановился и сказал:

– Попрошу старшего офицера, чтоб на ночь тебя отпустили домой.

– Премного благодарен, вашескобродие… Видно, крышка ей? – чуть слышно спросил матрос.

И лицо Ткаченко стало напряженно серьезным.

– Пожалуй, до утра не доживет. Она и не догадывается. Не показывай ей, что смерть пришла…

– Не окажу себя, вашескобродие. Жалко обанкрутить человека.

– То-то.

Доктор уехал.

Угрюмый матрос постоял на улице, выкуривая ма-

ленькую трубку.

Затем спрятал ее в штаны и, возвратившись в комнату, проговорил:

– Ну, Аннушка, переведу тебя на новое положение… У окна скорей пойдет выправка.

Матрос передвинул кровать…

– Небось лучше?

– Лучше… Не так грудь запирает…

– Вот видишь… Сейчас пошлю к тебе Щипенкову, пока Маркушка не обернется… А я на корабль…

– Когда зайдешь, Игнат?

– Может, на ночь отпустят… Так за Маркушку за няньку побуду. И побалакаем, а пока до свиданья, Аннушка.

– Отпросись, Игнат…

– А то как же?

– Отпустят?

– Старший офицер хоть и собака, а с понятием. Отпустит.

– Наври. Скажи, мол, матроска дюже хвора…

– Форменно набрешу… А как ты придешь ко мне на баксион и старший офицер увидит, скажу: «Так, мол, и так… Доктур быстро выправил мою матроску!»

IV

Вечером, в восьмом часу, Ткаченко пришел домой.

Больная спала. Дыхание ее было тяжелое и прерывистое. Из груди вырывался свист. Маркушка, свернувшись калачиком, сладко спал на циновке, на полу у кровати, и слегка похрапывал. Комната была залита лунным светом. С улицы долетали женские голоса. Говорили о войне, о том, что будет с Севастополем, если допустят француза.

Матрос осторожно разбудил мальчика.

Маркушка вскочил и виновато сказал отцу:

– Маленько заснул… Мамка все спит… На поправку, значит…

– Ты, Маркушка, иди спать в сени… Выспись…

– А если мамка позовет?

– Я буду заместо тебя на вахте… Ступай! – почти нежно прошептал матрос.

Матрос присел на табуретке и скоро задремал. Но часто открывал глаза и прислушивался…

В слободке царила мертвая тишина. В городе часы пробили двенадцать ударов. Доносились протяжные оклики часовых: «Слу-шай».

Матрос поднялся и заглянул в лицо больной. Облитое светом, оно казалось мертвым.

Матроска вдруг заметалась и открыла большие, полные ужаса глаза.

– Испить, Аннушка?..

– Тяжко… Духа нет… О господи!

– Постой, капли дам…

– Дай… Спаси!.. Игнат!.. Родной!.. Смерть!

Матрос дрожащими руками налил капли в рюмку с водой и поднес ее к губам жены. Она вдруг вытянулась и вздохнула в последний раз. Наступила жуткая тишина.

Матрос перекрестился и угрюмо поцеловал лоб покойницы.

Игнат до рассвета оставался в комнате.

Заснуть он не мог и курил трубку за трубкой. В голове его неотступно проносились воспоминания о покойной, об ее правдивости, верности и заботливости. Он вспоминал, как хорошо они жили четырнадцать лет и только пьяным, случалось, ругал ее и бил, но редко и с пьяных глаз.

И чем больше думал матрос о своей жене, тем мучительнее и яснее чувствовал ужас потери. На душе было мрачно.

– Прости, в чем виноват! Прости, Аннушка! – взволнованно шептал матрос.

Наконец стало рассветать, и матрос вышел из дома. Он разбудил Щипенкову и просил ее честь честью

обмыть покойную и одеть. Скоро они положили ее на стол. От Щипенковой Игнат пошел звать одну знакомую старую вдову-матроску, умевшую читать псалтырь, прийти почитать над покойницей и затем зашел к старику плотнику – заказать гроб.

Когда матрос вернулся, в сенях Маркушки уже не было.

Он был в комнате, смотрел на покойную и безутешно рыдал.

– То-то, Маркушка! – мрачно проговорил матрос.

– Тятенька!.. Разве мамка взаправду умерла? – воскликнул Маркушка. – Тятенька!

– Взаправду…

– Как же доктор говорил?

– Чтоб не тревожить… А он сразу мне сказал, что смерть пришла… Ничего не поделаешь… Нутренность была испорчена.

Матрос послал Маркушку просить священника, а сам ушел на корабль, обещая прийти к вечеру…

Через день хоронили матроску.

За гробом, выкрашенным олифой, шли рядом матрос и Маркушка; за ними десяток матросок.

Батюшка опоздал к выносу, и вынесли гроб около полудня.

День стоял теплый, но серый. Дул слабый ветер.

Все провожавшие услыхали какой-то тихий гул в

воздухе, точно слабые раскаты далекого грома.

И матроски оглядывались на Северную сторону, откуда, казалось, доносился гром, и крестились.

– Это пальба слышна… Менщик не пущает француза! – вымолвил матрос, прислушиваясь.

Маркушка стал креститься.

Возвращаясь с кладбища, отец говорил Маркушке:

– Понаведывайся ко мне на четвертый баксион. Около бульвара… А живи у Щипенковой… Будешь помогать ей…

– Я бы к дяденьке лучше.

– Что ж… Ежели возьмет… А потом обмозгую, где тебе находиться… может, и к тетке в Симферополь пошлю…

– Я бы здесь…

– А ежели бондировка?..

– Что ж… к вам бы бегал, на баксион…

– Глупый… А убьют?..

– Зачем убьют… Уж позвольте, тятенька, остаться…

– Там видно будет, какая будет тебе моя лезорюция… а пока прощай, Маркушка… Завтра приходи на баксион… к полудню… Вот тебе два пятака на харчи, сирота!

У бульвара они разошлись. Матрос пошел на бульвар, а Маркушка на Графскую пристань.

Он снова видел матросов, везущих пушки, слушал отдаленную пальбу и вдруг, охваченный тоской по матери, горько заплакал, направляясь к Графской пристани.

ГЛАВА II

I

«Дяденька», старый яличник Степан Трофимович Бугай, только что вернулся с Северной стороны и видел там первого раненого офицера в Альминском сражении [8].

Его привезли в коляске.

Яличник видел полулежащую крупную фигуру с черноволосой головой без фуражки, с мертвенно-бледным красивым молодым лицом. Он видел напряженно серьезное лицо военного врача, сидевшего бочком в коляске, лакея в «вольной» одежде на козлах рядом с ямщиком и двух донских казаков на уста-

---

[8] …видел там первого раненого офицера в Альминском сражении. – Сражение на реке Альме произошло 8 сентября 1854 г. Русские стремились не допустить неприятеля к Севастополю. Однако исход боя был решен прежде всего военно-техническими преимуществами союзнических армий, их численным превосходством, у русских было 35 тысяч солдат (указанная в повести цифра – 25 тысяч – ошибочна), то есть наполовину меньше армии союзников. Нельзя не отметить также и бездарность русского командования. Русские солдаты не раз ходили в штыковые атаки, своей храбростью изумляя даже врагов. Англо-французские войска понесли большие потери, но победа осталась за ними. Путь на Севастополь оказался открытым.

лых лошадках, провожавших коляску.

Когда раненого перенесли на катер, чтоб переправить к морскому госпиталю, молодой ямщик на минуту остановился около кучки любопытных и сказал, что привез важного офицера, которому вначале сражения оторвало ногу ядром, и по случаю того, что «барин княжеского звания и страсть богатый», для него обрядили коляску и запрягли курьерских со станции, чтобы лётом доставить в Севастополь. Пусть, мол, доктора приложат все свое старание для князя из Петербурга.

Ямщик прибавил, что по дороге обогнал пешеходных раненых солдат, которые плелись к Севастополю, а видел и таких, «кои истекали кровью в степи».

Ямщик поехал на станцию. Два казака, молодые, запыленные и довольные, подъехали к кучке у пристани и спросили, где бы можно закусить, отдохнуть, покормить коней и тогда уж вернуться к своей части.

Бугай спросил казаков: как наши управляются с французом и пойдет ли он наутек, на свои корабли.

Один казак ответил, что по началу еще неизвестно. Однако уже много наших он перебил и поранил. Его видимо-невидимо, и наши ружья зря палят.

– Ничего не поделаешь против стуцеров! – не без важности прибавил другой казак.

В нескольких шагах остановилась татарская мад-

жара [9]. Казаки переглянулись и подъехали к ней.

Не прошло минуты, как верхушки двух пик были увенчаны несколькими арбузами и дынями, и казаки отъехали с веселым смехом.

Старый татарин только сверкнул глазами, полными злобы.

Подъехал фаэтон с господином и растерянной дамой. Они приехали с ближнего своего хутора и наняли Бугая перевезти в Севастополь.

По дороге пассажиры толковали между собой о том, что будет с их домом, если придут союзники или наши. Наверное, все разорят. Пожилой господин, по-видимому грек, бранил князя Меншикова за то, что у нас мало войска. Из-за этого татары волнуются и многие уж бросили хутора и пошли в турецкий лагерь, чтобы служить им лазутчиками и быть проводниками.

– Надеются, шельмы, что Крым отойдет к туркам! – прибавил пожилой обрусевший грек.

Бугай перевез пассажиров и никому из товарищей-яличников не сообщил первых нехороших известий.

«Еще правда ли?» – подумал старый яличник.

Однако был в подавленном мрачном настроении. Он как-то лениво попыхивал дымком из трубчонки, ко-

---

[9] Маджара (мажара) – длинная телега с решетчатыми боковыми стенками. Распространена на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе.

торую держал в еще крепких белых зубах, и часто сердито и тревожно взглядывал за бухту, напряженнее прислушиваясь к отдаленному гулу выстрелов.

Раскаты были чаще и, казалось, слышнее.

И Бугай снял шапку и истово перекрестился.

– Дяденька! – окликнул Маркушка, утирая грязным кулаком глаза, полные слез.

Мальчик, подошедший к ялику, не походил на прежнего смелого и бойкого Маркушку.

Он напоминал собой бездомную собачонку, прибежавшую искать приюта и ласки.

– Что мамзелишь, Маркушка? Попало за шкоду, и не скуль! – сердито сказал «дяденька», поворачивая голову.

– Дяденька!.. Мамка… По-хо-ро-ни-ли! – протянул мальчик, точно оправдываясь.

К горлу подступали рыдания. Но Маркушка старался сдерживать их.

В темных глазах мальчика стояло такое отчаяние, что угрюмое выражение лица старого яличника быстро смягчилось.

И он глядел на Маркушку, не роняя слова.

Его молчание было тем проникновенным и участливым молчанием, которое дороже слов. Бугай точно понимал, что всякие слова утешения бессильны и фальшивы.

И Маркушка чувствовал, как тоска отчаяния смягчалась под ласковым, почти нежным и слегка смущенным взглядом маленьких глаз «дяденьки».

– Что же не валишь в шлюпку, Маркушка? – наконец проговорил Бугай. – Скоро на ту сторону. Прокатимся. Отсюда нема пассажира. Больше оттуда… С хуторов повалили.

Маркушка вошел в ялик и притих, довольный, что нашел себе приют на ялике, под боком «дяденьки».

– Отец на баксионе?

– На баксионе.

– Ты обедал?

– Нет. Тятька дал грошей… Куплю чего-нибудь.

– Поешь!

С этими словами Бугай достал из ящика под сиденьем булку, копченую рыбу и небольшой кусок мяса.

– Все съешь, а кавун на закуску… То-то и скусно будет.

Пока Маркушка ел, яличник раздумчиво посматривал на мальчика, и когда тот прикончил обед и принялся за арбуз, Бугай сказал:

– А пока что у меня живи… День будешь вроде рулевого на ялике, а на ночь в мою хибарку… Хочешь, Маркушка?

Маркушка ответил, что очень даже хочет и тятьку просил, чтобы к «дяденьке».

– А отец что?

– Позволил. Пока, говорит, ежели вы дозволите. А там, мол, видно. Но только тятька в Симферополь хочет услать… к тетке…

– И поезжай!

– За что, дяденька?

– За то!

– Мне бы остаться, дяденька… И тятьку просил остаться… Хучь бы и бондировка… Я бы к тятьке на баксион забегал… Только бондировки не будет… Менщик ловок… Не допустит. Теперь он чекрыжит их, шельмов… Расстрел их, дьяволов, идет!

– То-то еще неизвестно. Ешь себе кавун, Маркушка… И как бог даст!

Бугай снова стал очень серьезен. Он нахмурил брови и стал прислушиваться.

– Слышишь, Маркушка?

– Что-то не слыхать, дяденька!

– Значит, конец стражению! – прошептал строго Бугай.

С судов на рейде пробили шесть склянок.

– Едем! – сказал Бугай.

Он отвязал конец, прикрепленный к рыму на пристани, отпихнул шлюпку, сел на среднюю банку, взял весла и приказал Маркушке сесть на сиденье в корме, на руль.

– Умеешь править? – строго спросил яличник.

– Пробовал, дяденька! – ответил Маркушка и самолюбиво вспыхнул.

– Не зевай… Рулем не болтай. На дома держи… Вон туда… Видишь? – сказал, указывая корявым указательным пальцем на белеющееся пятно построек на противоположном берегу.

– Вижу, дяденька! – несколько робея, промолвил Маркушка.

Бугай поплевал на свои широкие, мозолистые ладони и стал грести двумя веслами.

Он греб как мастер своего дела, ровно, с небольшими промежутками, сильно загребывая лопастями воду.

И шлюпка ходко шла, легко и свободно разрезывая синеющую гладь бухты играющей рябью.

Проникнутый, казалось, ответственностью своей важной обязанности, Маркушка, необыкновенно серьезный и возбужденный, с загоревшимися глазами, устремленными вперед, вцепившись рукой в румпель, правил, стараясь не вилять рулем и видимо довольный, что нос шлюпки не отклонялся ни вправо, ни влево.

Рулевой и гребец молчали.

По временам Бугай вглядывал назад, чтоб проверить направление ялика, и удовлетворенно посматри-

вал на серьезного маленького рулевого.

И на середине бухты проговорил с легкой одышкой:

– Молодца, Маркушка! Ловко правишь!

Маркушка зарделся.

В эту минуту он чувствовал себя бесконечно счастливым.

– Встречные шлюпки оставляй влево…

– Есть! Влево! – ответил Маркушка, перенявший обычный матросский лаконизм служебных ответов от отца и других матросов.

И, когда встретил вблизи ялик, Маркушка осторожно переложил руль, и ялик, полный пассажирами, прошел в расстоянии сажени.

– Бугайка! – крикнул яличник. – Солдаты подходят… Раненые!.. Сказывают, француз одолел!

Бугай нахмурился и налег на весла.

II

Когда шлюпка пристала, несколько яликов, полные солдат, отваливали.

При виде того, что увидал на Северной стороне Маркушка, сердце его замерло.

И он с ужасом воскликнул:

– Дяденька!!

– Видишь: раненные французом! – сердито сказал Бугай.

– А он придет?

Старый яличник не ответил и проворчал:

– И что смотрит начальство! По-ря-дки!

Большое пространство берега перед пристанью было запружено солдатами в подобранных и расстегнутых шинелях. Они были без ружей, запыленные, усталые, с тревожными и страдальческими лицами. Словно испуганные овцы, жались они друг к другу небольшими кучками. Большая часть сидела или лежала на земле. Тут же скучились телеги и повозки, переполненные людьми. Никакого начальства, казалось, не было.

Среди людей раздавались раздирающие крики о помощи, вопли и стоны. Слышались призывы смерти.

Никакой медицинской помощи не было. Военных

баркасов для переправы раненых в госпиталь еще не было.

Покорная толпа ожидала… То и дело подходили новые кучки и, истомленные, опускались на землю.

Маленький, заросший волосами военный доктор, сопровождавший первый транспорт тяжелораненых, то и дело перебегал от телеги к телеге и старался успокоить раненых обещаниями, что скоро доставят их в госпиталь. Он встречал молящие, страдающие взгляды и глаза, уже навеки застывшие.

Врач бессильно метался, зная, что помочь невозможно.

И, вспомнив что-то, он подошел к шлюпке Бугая, в которую уже бросилось человек двадцать раненых, и, обратившись к молодому бледному офицеру с повязкой на голове, из-под которой сочилась кровь, проговорил:

– Сейчас поезжайте в госпиталь, Иван Иваныч… Бог даст, рана благополучная… Пулю вынут скоро.

И, словно бы желая облегчить свое раздражение, прибавил:

– Вы видели, Иван Иваныч… Видели, что здесь делается? Час приехали, и нет шлюпок. Ведь это что же? Как я перевезу тяжелораненых… Куда я их дену? Уж десятки умерло… А сколько еще подъедут. Это черт знает какие порядки… Даже корпии не хватило…

Прибежал откуда-то пожилой моряк, смотрел на бухту и ругался:

– Хоть бы вовремя предупредили… Давно бы были пароходы и баркасы, а то… Разве я виноват? Доктор! Вы понимаете, каков штаб у Меншикова!.. Не знал ли он, что будут раненые?!

– Это ужасно… Ведь люди! – возмущался доктор.

Тогда моряк вошел в середину толпы и крикнул:

– За баркасами послано, братцы! Потерпи. Сейчас вас перевезут!..

Но доселе безропотно ожидавшие, казалось, взволновались словами моряка.

Из толпы в разных концах раздались слова:

– Бросили здесь, как собак!

– С раннего утра не ели.

– Хоть бы перевязали… Истекай кровью!

– В город доставьте… Не давайте умирать!

– Он нагрянет…

– Всех нас и заберут!

Раненые зашевелились. Многие стали подниматься.

Тогда моряк во всю мощь своего голоса крикнул:

– Сиди, братцы! Не слушай дураков! Он не придет. Наша армия не пустит.

С этими словами он быстро вернулся к пристани и крикнул Бугаю:

– Стоп отваливать!

С ближайшей телеги донесся голос:

– Менщик пустил… Пропали мы!

– Врешь! – закричал на раненого моряк.

Он достал из кармана листок бумаги и написал карандашом на ней несколько слов.

– Ты, рулевой мальчишка! – сказал моряк Маркушке.

– Есть, вашескобродие.

– Знаешь квартиру Павла Степаныча Нахимова?

– Как не знать.

– Сбегай немедленно к нему и передай записку.

– Есть!

В ту же минуту сбоку, вокруг толпы, подъехал к пристани на крымском славном иноходце молодой запыленный офицер в адъютантской форме.

Он соскочил с седла, бросил поводья сопровождавшему его казаку и крикнул на отвалившую только шлюпку Бугая:

– Вернись… Возьми…

Бугай затабанил, и шлюпка была у пристани.

– Еду с письмом от главнокомандующего к Корнилову! – взволнованно проговорил адъютант, пожимая руку знакомого моряка.

– Ну что?.. Какие вести?

– Плохие…

– Отступили?..

– В беспорядке!.. Срам… Кирьяков с дивизией перепутал…

– А куда армия?..

– Отступаем на Инкерман… Ночуем там…

– А союзники?

Офицер пожал плечами.

– Идут за нами… Может, и в Севастополь!.. – ответил чуть слышно офицер.

И, пожав руку моряка, вошел в шлюпку, и она отвалила.

Наконец показалась большая флотилия больших гребных судов, плывших на Северную сторону для перевозки раненых в город.

Старый яличник наваливался на весла, угрюмый, не проронивший ни слова и прислушивавшийся к подавленному тону разговоров своих пассажиров.

– Дяденька! Идут! – радостно крикнул Маркушка.

Он стоял у руля в маленьком кормовом гнезде сзади переднего сиденья на ялике.

«Дяденька» Бугай быстро повернул голову, взглянул секунду-другую на военные баркасы и катера и удовлетворенно прошептал:

– Слава тебе господи!

Маркушка правил рулем добросовестно.

Весь отдавшийся своему делу, он не слыхал, о чем

разговаривали перед его носом два офицера: оба усталые, бледные, молодые, со сбившимися повязками – один – на голове, другой – на шее.

Офицер с повязкой на голове, блондин с грустными, вдумчивыми глазами, говорил тихим голосом, полным безнадежной тоски, об Альминском сражении.

– И что могли сделать двадцать пять тысяч наших, почти безоружных со своими кремневыми ружьями, против семидесяти тысяч союзников, отлично вооруженных? Они могли только умирать благодаря генералам, поставившим солдат под выстрелы… Уж потом приказали отступать, когда уж пришлось бежать…

Слезы дрожали в глазах блондина, и он еще тише сказал:

– И какая неприготовленность!.. Какое самомнение!.. Ведь все думали, что закидаем иностранцев шапками… Вот как закидали!

– Быть может, еще поправимся… Дай нам хорошего главнокомандующего, хороших генералов…

– Прибавьте пути сообщения, чтоб поскорей пришли из России войска… Прибавьте порядок – видели сейчас на Северной стороне, – прибавьте хорошее вооружение и многое… многое, что невозможно… Нет, надо необычайную глупость неприятеля,

чтоб мы могли поправиться… И знаете ли что?

– Что?

– Нас разнесут… Понимаете, вдребезги? – прошептал блондин.

И еще тише прибавил:

– Для нашей же пользы.

– Какой?

– Еще бы! Мы избавимся от самомнения и слепоты… Поймем, отчего нас разнесут. В чем наша главная беда… О, тогда…

Молодой офицер внезапно оборвал… Его большие славные глаза словно бы сияли какою-то восторженностью, и в то же время в них было что-то страдальческое.

Он слабо застонал и схватился за голову. Лицо побледнело.

Сидевший по другую сторону старый солдат поднес к побелевшим губам офицера крышку с водой, еще оставшейся в манерке.

– Испейте, ваше благородие.

Офицер отпил два-три глотка и благодарно посмотрел на солдата.

– Ты куда ранен? – спросил он, казалось не чувствуя острой боли.

– В живот, ваше благородие.

– Перевязан?

– Никак нет. Сам по малости заткнул дырку, ваше благородие. В госпитале, верно, обсмотрят и станут чинить.

Скоро шлюпка пристала.

На пристани стояла небольшая кучка. По-видимому, это были рабочие из отставных матросов. Больше было женщин: матросок и солдаток.

Мужчины помогли слабым выйти из шлюпки и предложили довести до госпиталя. Двум раненым офицерам привели извозчика, и они тотчас уехали. Ушел и адъютант.

А солдаты пока оставались на пристани. Бабы их угощали арбузами, квасом и бубликами, расспрашивали, правда ли, что француз придет и отдадут Севастополь. И многие плакали.

– Брешут все!.. А вы главные брехуны и есть! – крикнул Бугай.

Он только что получил тридцать копеек от трех офицеров и на такую же сумму оделял медяками «своих пассажиров».

– Пригодятся, крупа! – сердито говорил Бугай.

Единственный свой пятак Маркушка торопливо, застенчиво и почти молитвенно положил в грязную руку солдата с короткой седой щетинкой колючих усов, который казался мальчику самым несчастным, страдающим из раненых, внушающим почтительную, словно

бы благоговейную жалость взволнованного сердца.

Солдат покорно, без слов жалобы, сидел на земле, такой изможденный, сухенький и маленький старичок, запыленный, с разорванной шинелью на плечах, без сапог, в портянке на одной ноге и с обмотанной пропитанной кровью тряпкой на другой, с сморщенным, почти бескровным лицом, на щеке которого вместе с какой-то черной подсыпкой выделялся темно-красный большой сгусток запекшейся крови. Правая рука была подвязана на какой-то самодельной повязке из серого солдатского сукна.

– Спасибо, мальчонка! Выпью шкалик за твое здоровье! – бодро проговорил раненый солдат. – Еще починят. До свадьбы заживет! – прибавил он с улыбкой, и грустной и иронической, посматривая маленькими оживившимися глазами на свою руку и ноги.

Какая-то матроска угощала квасом. Старик добродушно сказал:

– Квас квасом, а ты спроворила бы, бабенка, шкаликом. Вот тебе семь копеек, что дедушка с внуком дали. А затем можно и до госпиталя доплестись.

Маркушка подбежал к Бугаю и спросил:

– Бегу к Нахимову, дяденька, с запиской?

– Беги! Если уеду – жди здесь.

– Лётом обернусь. Еще застану.

И полетел на Екатерининскую улицу.

III

Был шестой час на исходе.

На Графской пристани и на Екатерининской улице были небольшие кучки морских офицеров, чиновников и дам.

Почти на всех лицах были подавленность и изумление. Везде шли возбужденные разговоры о только что полученной вести – что наши войска разбиты и в беспорядке отступают, преследуемые союзниками.

Раздавались восклицания негодования. Обвиняли главным образом Меншикова за то, что он с такими солдатами и был разбит так ужасно.

Что теперь будет с Севастополем?..

По Большой улице проезжал старый генерал на усталой лошади, один, понурый, в солдатской шинели, простреленной в нескольких местах.

Это был корпусный командир, один из участников Альминского сражения, только что приехавший от отступающих войск. С балкона губернаторского дома, на котором сидело несколько дам и двое молодых инженеров, хозяйка, пожилая жена адмирала, окликнула знакомого генерала.

Он остановился у решетки сада и, поклонившись, извинился, что не может зайти.

– Что будет с нами, любезный генерал? – по-французски спросила адмиральша.

Генерал сказал, что знает обо всем Меншиков и более никто. И, пожимая плечами, точно он ни в чем не виноват, проговорил, что благодаря глупости одного генерала и странной диспозиции [10] главнокомандующего мы должны были отступить… А у него шинель прострелена во многих местах. Его вовремя не поддержали и… оттого потеряна битва…

И негодующе прибавил:

– Знаете, что сделал главнокомандующий? Он с поля сражения послал своего адъютанта Грейга [11] в Петербург к государю – и вообразите! – приказал Грейгу доложить все, все, что видел, и что письменную реляцию [12] пошлет завтра… Разве это не дерзость?.. Так огорчить государя?!.

С этими словами генерал уехал.

Все изумились дерзости Меншикова. Дамы печа-

---

[10] Диспозиция – письменный приказ войскам для исполнения боевой задачи, походного марша, маневра.

[11] Грейг Самуил Алексеевич (1827-1887) – сын известного русского адмирала Грейга А.С. В 1851-1854 гг. был адъютантом А.С.Меншикова, впоследствии – министр финансов, член Государственного совета. О посольстве Грейга к Николаю I Станюкович подробнее рассказывает в автобиографической повести «Маленькие моряки».

[12] Реляция – письменное донесение командования о боевых действиях войск.

лились главным образом тем, что государь будет так огорчен. О множестве убитых и раненых как будто не вспомнили.

Торопливо выскочившая из фаэтона дама, из севастопольских «аристократок», вбежала на балкон и, поздоровавшись со всеми, взволнованно сказала:

– Знаете ужасную вещь?

И рассказала, что только что умер в госпитале N красавец гвардеец, только приехавший из Петербурга… У него была оторвана нога ядром, и прожил несколько часов.

Большая часть присутствующих дам знали покойного, и все пожалели, что такой красивый, молодой и богатый князь погиб. Это ужасно… ужасно!

– Не он один убит! На войне бывает много убитых и раненых! – произнес вошедший из комнат на балкон хозяин, высокий, слегка сутуловатый, худощавый адмирал, видный, живой и моложавый, несмотря на свои шестьдесят лет.

Озабоченный и насупившийся, он проговорил эти слова резким, отрывистым тоном, поздоровался с приехавшей дамой, женой одного из адмиралов, и присел вблизи общества, сидевшего вокруг стола.

При адмирале все примолкли и принялись за фрукты.

Через минуту молодая адмиральша обратилась к

хозяину:

– Но все-таки мне скажите… Должны сказать…

– Что-с?

– Что будет с Севастополем? Меншиков разбит… Мы беззащитны. Отдадим Севастополь? Французы будут здесь?

– Надо еще взять Севастополь. Возьми-ка его! – вызывающе сказал адмирал. – Вы повторяете нелепые слухи, слухи! – прибавил он раздраженно.

– Вы только хотите успокоить. Но надо же знать. Бог знает что случится в эту же ночь.

– Ночью вам нужно почивать, сударыня. И примите мой добрый совет.

– Какой?

– Не слушайте болтовни и сами меньше болтайте… Да-с!

Дама сделала обиженное лицо.

– Вы очень нелюбезны, Андрей Иваныч! Мы в таком волненье. Не знаем, к чему приготовиться… Муж молчит. Я уверена, что мосье Никодимцев не откажет нам объяснить.

И молодая женщина спросила молодого инженера, недавно приехавшего из Петербурга:

– Скажите… Легко взять наш Севастополь?

И другие дамы стали просить инженера.

Инженер помялся.

Но через минуту серьезно и с солидным видом проговорил:

– Если неприятель хорошо осведомлен и воспользуется нашим поражением, то…

– То вы, молодой человек, говорите вздор! – грубо перебил адмирал, сердито ерзая плечами. – Какое поражение?! Мы отступили – вот и все.

Инженер покраснел.

– Вы ничего не знаете о положении Меншикова! – уже не так резко сказал хозяин. – А я знаю!

И прибавил:

– Я только что виделся с Корниловым. Он получил письмо от главнокомандующего. Он отступает к Севастополю и ночует на Северной стороне. И неприятель не преследует. А у нас еще наши батальоны моряков да пять тысяч новых защитников.

– Извините за вопрос, ваше превосходительство, кто новые защитники? – осторожно спросил инженер.

– Арестанты! Они будут молодцами и загладят свои преступления!..

Адмирал говорил уверенно и властно.

Но слова его нисколько не убедили молодого инженера. Он решил про себя, что адмирал ничего не понимает. Однако, чтоб не нарваться на новую грубость, поспешил поддакнуть адмиралу и почтительно прибавил, что его предположения ошибочны.

Адмирал метнул на инженера взгляд, в котором скользнуло гневное выражение.

Дамы несколько успокоились.

А между тем адмирал отлично знал критическое положение Севастополя и нарочно оборвал «глупого болтуна», как обозвал мысленно адмирал инженера.

Как и многие отличные моряки, но не особенно прозорливые и безусловно верившие в военную силу и мощь России, адмирал не верил высадке неприятеля, а потом, когда явились корабли, адмирал почти был уверен, что Меншиков не допустит высадку. Но, когда и в этом пришлось увериться, поражение наших войск под Альмой было неожиданностью для старого моряка николаевского времени.

Разделяя самоуверенность с большей частью людей той эпохи, адмирал высокомерно относился к тем немногим, которые ожидали серьезных бед от войны, и с удовольствием читал модное тогда хвастливое стихотворение, которым зачитывалось общество.

Стихотворение это начиналось следующим куплетом [13]:

---

[13] Вот в воинственном азарте… – куплет из хвастливого стихотворения «На нынешнюю войну», напечатанного по личному указанию Николая I в газете «Северная пчела» (1854, No 37). В газете стихотворение помещено без подписи. Автор его – Алферьев Василий Петрович (1823-1854), малоизвестный поэт.

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон [14]
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

И адмирал, не допускающий и мысли о какой-нибудь серьезной опасности Севастополю, все откладывал отправку своей семьи и подсмеивался над теми сослуживцами, которые торопились выслать жен и детей вслед за известием, что огромный флот союзников вошел в Черное море, направляясь к крымским берегам.

Зато в этот день восьмого сентября 1854 года ошеломленный, подавленный и бессильно обозленный адмирал понял, что не сегодня-завтра союзники могут взять Севастополь, оставленный гарнизоном, и главнокомандующий союзных войск станет властным хозяином Севастополя и займет тот большой, окруженный прелестным садом, уютный казенный дом, в котором живет теперь с большой семьей он, командир севастопольского порта и военный губернатор.

---

[14] Первый министр в Англии, когда она объявила России войну. (Примеч. автора.).Пальмерстон Генри Джон (1784-1865) – английский реакционный государственный деятель, в 1846-1851 гг. – министр иностранных дел, в 1852-1855 гг. – министр внутренних дел. Считая Россию главным соперником Англии в Азии и на Ближнем Востоке, Пальмерстон был одним из организаторов Крымской войны.

Четверть часа тому назад он виделся с Корниловым – этим признанным всеми вершителем и распорядителем Севастополя. Недаром же Корнилов своим умом, доблестью и силою духа умел вселять веру в него.

Негодующий на главнокомандующего, он показал адмиралу только что полученную им от князя Меншикова записку.

В записке князь писал, что оставляет Севастополь. Если он не может спасти его, то спасет армию от уничтожения. Чтобы не быть отрезанным от сообщения с Россией, от двух дивизий, уже пришедших в Крым, он в ту же ночь, после небольшого роздыха войскам, начнет фланговое движение, оставивши неприятеля влево. Соединившись с новыми войсками, он пойдет на неприятеля.

«А Севастополь уже будет уничтожен!» – подумал адмирал, прочитавши записку главнокомандующего.

Не сомневался в этом и Корнилов. Но он решил защитить Севастополь с горстью моряков и умереть с ними, защищая город. В ту же ночь все способные носить оружие должны ожидать неприятеля. С арестантов долой кандалы!

Никто не мог подумать, что союзники, после Альминской победы, не решатся идти брать Севастополь

[15], что, не зная его беззащитности, они пойдут на южную сторону, чтобы начать осаду, и что Севастополь падет только через одиннадцать месяцев героической защиты.

Адмирал посидел несколько минут на балконе, вернулся в свой кабинет и снова продолжал работать вместе с двумя адъютантами, диктуя соответствующие распоряжения.

И скоро вышел, сел на лошадь и поехал объезжать город, успокаивая взволнованных жителей.

[15] …союзники… не решатся идти брать Севастополь… – Наступление союзников было задержано их большими потерями в Альминском сражении.

IV

Маркушка, посланный с запиской к Нахимову, через две минуты добежал до небольшого дома и вошел в незапертый подъезд.

В прихожей сидел матрос-ординарец.

– Нахимов дома? – спросил Маркушка.

– Ад-ми-ра-ла? Да зачем тебе, мальчишка, адмирала? – спросил маленький черноволосый молодой матросик.

И вытаращил на Маркушку свои пучеглазые, ошалевшие и добродушные черные глаза.

– Дело! – значительно и серьезно сказал мальчишка.

– Дело?

И матросик прыснул.

– Да ты не скаль зубы-то, а доложи сей секунд: «Маркушка, мол, пришел…»

– Скажи пожалуйста!.. С каким это лепортом? Не накласть ли тебе в кису да по шеям?..

– Как бы тебя Нахимов не по шеям, а я письмо принес с Северной; приказано Нахимову беспременно отдать. Можешь войти в понятие?.. Доложи! – громко и нетерпеливо говорил Маркушка.

– Так и сказал бы! А то хочешь, чтоб тебя, охальни-

ка, да по загривку. Да черт с тобой, мальчишка! – добродушно улыбаясь, сказал ординарец. – А нашего адмирала, братец ты мой, дома нет. Будь дома, я тебя, ерша, пустил бы в горницы и без доклада. Адмирал не форсист… Он простой… От кого же у тебя письмо?

– От флотского барина. А ты, матрос, укажи, где найти Нахимова. Обегаю город и разыщу.

– Спешка?

– То-то. Так не держи. Сказывай.

– По баксионам, верно, объезжает. Каждый день на баксионах. Как, мол, стройка батареев идет… Поторапливает.

– Ну, бегу…

– Стой, огонь! Подожди! К восьми склянкам обещался быть. Минут через пять вернется! Садись вот около, да и жди!

Маркушка присел на рундуке в галерее.

– А ты зачем был на Северной, Маркушка? Живешь там?

– Нет… Тятька мой на четвертом баксионе, а я рулевым на ялике дяденьки Бугая! – не без достоинства проговорил Маркушка.

– Ишь ты?.. Рулевым? Да тебе сколько же, мальцу, годов?

– Двенадцатый! – вымолвил Маркушка.

«Кажется, не маленький!» – слышалась, казалось,

горделивая нотка в голосе, и серьезное выражение лица.

И сказал, что только на ялике привез двадцать пассажиров раненых.

– А сколько их на Северной осталось! Страсть. Лучше и не гляди на них… Жалко! Так стон стоит! А призору им не было… Только теперь пришли баркасы. Заберут! – говорил взволнованно Маркушка.

И с озлоблением прибавил:

– Все он, подлец, перебил… И сколько нашего народа… И вовсе стуцером обескуражил наших… А он за нашими и в ночь придет на Северную… Разве что Нахимов не пустит…

Но уж в голосе Маркушки не было уверенности.

– Ишь ты, чего наделал Менщик! – испуганно вымолвил матрос.

– Стуцер… И силы мало!.. – воскликнул Маркушка.

– А вот и Нахимов приехал! – сказал матрос и вскочил.

Вскочил и Маркушка и увидел Нахимова, подъезжавшего на маленьком конике к крыльцу.

ГЛАВА III

I

Нахимов ловко слез с небольшого гнедого иноходца и, слегка нагнувши голову, быстрыми и мелкими шагами вошел в галерею.

Обожаемый матросами за справедливость, доступность и любовь к простому человеку, уважаемый как лихой адмирал, уже прославившийся недавним разгромом турецкой эскадры в Синопе [16], и впоследствии герой Севастополя, – Нахимов был среднего роста, плотный, быстрый и живой человек, казавшийся моложе своих преклонных лет, с добрым, простым, красноватым от загара лицом, гладко выбритым, с коротко подстриженными рыжеватыми с проседью усами. Небольшие светлые глаза, горевшие огоньком, были серьезны, озабоченны, и в то же время в них чувство-

---

[16] …разгром турецкой эскадры в Синопе… – Синопское сражение произошло 18 ноября 1853 г. Русская эскадра под командованием П.С.Нахимова наголову разбила турецкий флот, что значительно ослабило Турцию и сорвало англо-турецкий план захвата Кавказа. Победа русского флота послужила для Англии и Франции предлогом вступить в войну якобы для «защиты Турции». Позднее к ним присоединилась Сардиния. Так сложился союз держав, противостоящих России в Крымской войне.

валась доброта.

И от всей его фигуры, и от строгого, казалось, выражения лица, и от нахмуренных бровей так и дышало необыкновенной простотой, правдивостью и почти что детской бесхитростностью скромного человека, казалось и не подозревавшего, что он герой. Он думал, что только делает самое обыкновенное дело, как может, по своей большой совести, когда ежедневно рисковал жизнью, объезжая во время осады бастионы, чтоб показаться матросам, и они понимали, что действительно это их адмирал.

Он был в потертом сюртуке с адмиральскими эполетами, с большим белым георгиевским крестом на шее. Из-под черного шейного платка белели «лисселя», как называли черноморские моряки воротнички сорочки, которые выставляли, несмотря на строгую форму николаевского времени, запрещавшую показывать воротнички. Из-под фуражки, надетой слегка на затылок, выбивались пряди редких волос.

Нахимов увидал уличного черноглазого мальчишку в галерее и быстро повернул к нему.

Глаза адмирала стали приветливы, и в его голосе не было ни звука генеральского тона, когда он отрывисто спросил:

– Что тебе, мальчик?

– Письмо с Северной стороны! – ответил Маркушка, вспыхнувший оттого, что говорит с самим Нахимовым,

и подал ему записку.

Тот прочитал и спросил:

– Зачем там был?

– На ялике… рулевым…

– Матросский сын? Как зовут?

– Маркушкой!

– Александр Иваныч! – обратился Нахимов к вышедшему из комнаты своему адъютанту, моряку. – Немедленно съездите-с к Корнилову… Показать-с записку. А в госпиталь сам съезжу-с… Лошадь.

– Самовар готов, Павел Степаныч!

– Отлично-с! А мальчику дайте, Александр Иваныч, рубль. Рулевой-с… Иди, Маркушка, на кухню… Скажи, чтоб тебе дали чаю…

– Очень благодарен… Но я должен на ялик, Павел Степанович…

– Вот-с, Александр Иваныч… И он… понимает-с!.. Молодец, Маркушка… Славный ты черноглазый мальчик…

Адмирал ласково потрепал по щеке Маркушку.

Адъютант дал Маркушке рубль.

И адмирал и адъютант вышли на улицу. Им подвели лошадей, и они уехали.

А Маркушка, обрадованный похвалой Нахимова и наградой, которую считал богатством, спрятал его в штаны и побежал со всех ног на пристань… Он встре-

чал кучки раненых солдат. Увидал их и на пристани, только что выходивших из яликов.

Бугая не было.

Маркушка присел и слышал, как яличники говорили о том, что на Северной видано не видано сколько раненых солдат и что многие не хотят в госпиталь и просились на ялики.

Вернулся Бугай, и опять на его ялике солдаты…

Только что они вышли, как Маркушка вошел в шлюпку, сел на руль и восторженно сказал Бугаю:

– Ну, дяденька… И какой Нахимов простой… И какой добрый… И как наградил!..

– А ты думал как!.. Известно: Павел Степаныч… Передохну, и поедем… Раненые так и валят… И куда их, бедных, денут?.. Никакого распоряжения. Хоть на улице без помощи… На военные шлюпки, кои опасно раненные, отбирали доктора…

– Нахимов распорядился… Послал адъютанта… Только что приехал с бакционов… Самовар дома готов… А он опять на лошадь, да и в госпиталь… – сообщил Маркушка.

– Не по его ведомству… По доброму сердцу только хлопочет… И ничего не схлопочет… Госпиталь битком набит… И около раненые… Ничего для них не распорядился Менщик… Вовсе о людях не подумал… А еще сказывали: умен… Одна в ем гордость… И се-

бя обанкрутил… И Севастополь как, мол, хочет, – тихо и угрюмо говорил Бугай…

– Придет, что ли, к нам француз?..

Бугай промолчал.

– И всех перебьют?.. И город изничтожит!.. Ведьма-боцманша вчера каркала.

– Не бойсь, Нахимов и Корнилов живыми не отдадут Севастополя!.. Уж приказ вышел всем матросам быть в готовности… И арестантам, слышно, будет освобождение… И кто из жителей способен – защищай город, коли Менщик такой человек оказался… Что ж, Маркушка… Ежели придется умирать – небось умрем! – прибавил с каким-то суровым спокойствием Бугай словно бы про себя.

Маркушка снова вспомнил, что мать умерла, и подумал, какой он дурной сын, что забыл ее.

И она, бледная, худая, трудно дышавшая, с большими ласковыми глазами, как живая представилась перед ним, и такое необыкновенно тоскливое чувство и такая жалость к себе охватили впечатлительного мальчика, что он притих, словно подшибленная птица, и слезы подступали к его горлу. И напрасно он жмурил глаза, стараясь остановить взрыв горя.

«Мамка… Мамка! Отдал бы мамке рубль!» – подумал Маркушка.

И он еще больше жалел мать и словно бы еще

сильнее почувствовал ужас ее смерти и то, что никогда больше не увидит ее, не услышит ее голоса, и ласковая ее рука не пригладит его головы…

– О господи! – вырвалось из груди мальчика тихое восклицание тоски и словно бы упрека. Маркушка отвернулся к морю, и плечи его вздрагивали, и слезы невольно текли из его глаз…

Бугай услыхал эти слезы и в первое мгновение подумал, что Маркушка испугался его слов о том, что придется умирать, ежели придет француз.

И старый яличник сказал:

– А ты не бойся, Маркушка… Тебя не убьют со стуцера. Пойми, братец ты мой, зачем мальчиков убивать? Никто ребят не убивает… Иродов таких нет… И ты не реви… Я тебя сохраню… Спрячешься у меня в хибарке, ежели что… Не показывайся на улицу… А как затихнет, выходи и гайда из Севастополя…

Маркушка повернул голову и, обливаясь слезами, решительно проговорил прерывистым, вздрагивающим и словно бы обиженным голосом:

– Я, дя-де-нька, не бо-юсь… Не уй-ду! Я с ва-ми!.. И вы мне ру-жье дай-те… Я францу-за за-стре-лю!.. А мамку жал-ко!..

И слезы еще сильнее полились из глаз Маркушки, оставляя грязные следы на его не особенно чистом лице.

– Ишь ты… вояка какой! А мальчикам ружья не полагается… Прежде войди в возраст… Тогда дадут. Ты у меня, Маркушка, молодца во всей форме… Не впадай в отчаянность насчет мамки, братец ты мой! И Павел Степаныч заметил, какой ты молодца. Может, мамке и лучше на том свете…

«Ишь ты бедняга-сирота!..» – подумал старый яличник.

И ласково прибавил:

– Не бойсь, бог твою мамку не обидит… Она была хорошая матроска.

– В рай назначит? – осведомился Маркушка, озабоченный, чтобы мать была там.

– Беспременно в рай! – убедительно и серьезно промолвил Бугай.

– А ведь там, дяденька, хорошо?

– Чего лучше!.. Однако отваливаем!

Через минуту шлюпка направилась на Северную сторону.

Старик и мальчик молчали. И оба были тоскливы.

II

После коротких южных сумерек быстро стемнело.

Бугай со своим рулевым сделал еще два рейса с ранеными. В десятом часу старик уж так устал, что нанял за себя гребца и велел перевозить раненую «крупу», а денег не просить.

– А мы с тобой, Маркушка, пойдем спать! – сказал Бугай.

Но вместо того чтобы подняться прямо в гору, в слободку, они пошли по Большой улице.

На улице часто встречались раненые солдаты. Проезжали верхами куда-то офицеры и казаки. Дома все были освещены; из открытых окон доносились тихие разговоры, и лица у дам были испуганные. Мужчин почти не было.

Бугай и Маркушка не повернули и у дома командира порта. Они увидали большое общество дам на балконе за чаем. Свечи освещали встревоженные лица.

– Не успели наутек! – прошептал Бугай.

– А что с ими будет? – спросил Маркушка.

– Спрячутся по подвалам…

– А самого губернатора?

– В плен возьмут – вот что!

Они подходили к Театральной площади, вблизи

бульвара, в конце которого был четвертый бастион.

Среди темноты видны были костры на площади, и там стояли и сидели матросы. Ружья их стояли в козлах… Моряки-офицеры ходили взад и вперед…

– Дай только тревогу, что француз идет на Севастополь, небось мы его примем! – проговорил Бугай, стараясь подбодрить себя и разогнать мрачные мысли. – Вон и Павел Степаныч… Везде поспевает…

Нахимов только что приехал. Он приказал не строить войска, слез с лошади и, сопровождаемый несколькими старшими моряками, обходил матросов.

И среди этой горсти, готовой не пустить целую армию, не было паники. Нахимов так спокойно говорил и шутил, что, казалось, никто не думал о неминуемой смерти.

Бугай и Маркушка пошли наверх, в слободку, и скоро вошли в хибарку, как звал старый яличник свою маленькую комнату в одной из хат матросской слободки…

Бугай зажег свечку, устроил Маркушке на полу постель, дал ему одеяло и подушку и сказал:

– Давай спать, Маркушка!

Маркушка через минуту уже крепко спал.

А Бугай разделся, помолился перед образом, стоявшим в переднем углу его необыкновенно чистой и аккуратно прибранной комнатки, и лег на свою узень-

кую койку…

Но долго еще заснуть не мог и несколько раз подходил к раскрытому окну, взглядывал в темноту ночи и прислушивался.

Поздно вечером Корнилов вернулся в Севастополь от Меншикова, который остановился на реке Каче. По словам историка Крымской войны [17], «Корнилов прежде всего распорядился о размещении по госпиталям и лазаретам раненых, прибывающих с поля сражения. На северной стороне рейда ожидали их шлюпки для переправы через бухту, а на пристанях южного берега стояли люди с носилками. Вся дорога вплоть до госпиталя и казарм, назначенных для приема раненых, была освещена факелами. И всю ночь тянулись по ней мрачные тени, говорившие о наших потерях».

И всю ночь в Севастополе шла работа.

Тысяча двести человек рабочих, матросов и добровольцев усиленно укрепляли, под руководством Тотлебена [18], северное укрепление на Северной сторо-

---

[17] Некоторые исторические данные взяты мною из «Истории Крымской войны и обороны Севастополя» Н.Ф.Дубровина. (Примеч. автора.)

[18] Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884) – русский военный инженер. Во время Севастопольской обороны руководил фортификационными работами.

не, которое должно было защищать город, если бы сюда бросился неприятель… А встретить нападение шестидесятитысячной армии приходилось всего десяти тысячам матросов и солдат.

Корнилов знал, что эта защита – верная смерть, но решил умереть. Он взял на себя оборону Северной стороны, а Нахимов с тремя тысячами матросов должен был защищать самый город.

Работали всю ночь и на оборонительной линии.

Как только союзники высадились и Меншиков ушел с армией на позицию к Альме, адмирал Корнилов стал распорядителем защиты. И новые батареи и укрепления повсюду, откуда можно было ждать неприятеля, вырастали благодаря Тотлебену словно бы чудом в несколько дней.

В городе кипела необыкновенная деятельность все дни и ночи.

Работы в порту были прекращены; мастеровые и арестанты принялись за постройку укреплений.

Все рабочие, какие только были под рукою, писаря, вахтера, музыканты, певчие были назначены на работу, но всех их было не более восьмисот человек. Жители города сами спешили туда, где строились укрепления и устраивались преграды неприятелю.

«Телеги, лошади и волы, тачки и носилки, принадлежащие частным лицам, по доброй воле, без требо-

вания, употреблены были для перевозки и переноски различных предметов. Полиция, обходя дома, звала обывателей на работу, но, случалось, долго стучалась в двери, чтобы услышать от ребенка, что отец и мать давно ушли туда без всякого приглашения. Таких работников разного звания, пола и возраста собралось около пяти тысяч человек».

Была и такая батарея, которая была насыпана только одними женщинами. Батарея эта до конца осады Севастополя сохранила названье «девичьей»…

Тревожная ночь прошла.

III

Утром в городе было известно, что Меншиков накануне ночью приезжал и что разбитая армия после ночевки на Каче придет вечером, девятого сентября, к Южной стороне Севастополя.

Но эти вести не были утешительны. Рассказывали, что Меншиков немедленно же уйдет с армией к Бахчисараю, чтобы обойти союзников и соединиться с войсками, идущими из России.

Севастополь, с его портом и флотом, оставался на произвол неприятеля.

Утром, девятого сентября, Корнилов собрал знаменитый военный совет из адмиралов и командиров. Он сказал, что ввиду возможности появления союзной армии, которая займет высоты на Северной стороне, неприятель принудит наш флот оставить настоящую позицию и затем овладеет северными укреплениями. Тогда неприятельский флот войдет в Севастополь, и самое геройское сопротивление не спасет черноморского флота от гибели и позорного плена.

И Корнилов предложил совету:

– Выйдем в море и атакуем неприятельский флот. В случае успеха мы уничтожим неприятельские корабли и лишим союзную армию продовольствия и подкреп-

ления, а в случае неудачи сцепимся на абордаж, взорвем себя и часть неприятельского флота на воздух и умрем со славою!

Совет молчал.

Большинство не сомневалось, что этот геройский план бесполезен и что, во всяком случае, если бы мы и взорвали часть неприятельского, несравненно сильнейшего и имеющего винтовые корабли, флота, то это не достигло бы цели – спасти город. Другая часть неприятельского флота, специально боевая эскадра, посланная для атаки нашего флота, могла отрезать нас или вместе с нами ворваться в Севастополь. И тогда гибель нашего флота все-таки не спасла бы города.

Среди моряков мысль – преградить вход неприятельскому флоту на севастопольский рейд и запереть свои корабли – обсуждалась уже со дня высадки неприятеля.

Но ввиду такого предложения, щекотливого для моряков, уже не раз показавших, что они не боятся смерти, когда она нужна, – да еще сделанного таким уважаемым и любимым вождем, как Корнилов, – долгое время продолжалось молчание.

Никто не решался сказать то, что по совести считал необходимым. Никто не смел предложить своими руками потопить те самые корабли, которые были для

них так дороги и близки, признав их бессилие, и отказаться от звания моряка, которым так гордились черноморцы.

Умное, энергичное и бледное лицо Корнилова, казалось, сделалось еще бледнее и серьезнее. Его тонкие губы вздрагивали.

Молчал и он, понимая, что молчание совета говорит о несогласии подчиненных, которых он хорошо знал как мужественных и храбрых ревнителей долга.

Так прошло несколько длинных, томительных минут.

Все-таки никто не высказал воистину гениальной общей мысли, которая на время и спасла Севастополь.

Наконец поднялся курчавый, черноволосый, пожилой капитан, с привлекательным, но некрасивым, рябым лицом и блестящими глазами.

Это был известный лихой моряк, побывавший в молодости в плену у черкесов после схватки с ними, известный неустрашимостью и веселым характером моряк, капитан первого ранга Зорин.

Он взволнованно громко сказал, обращаясь к совету:

– Хотя я не прочь вместе с другими выйти в море, вступить в неравную битву и искать счастья или славной смерти, но я смею предложить другой способ

защиты: заградить рейд потоплением нескольких кораблей, выйти всем на берег и защищать с оружием в руках свое пепелище до последней капли крови [19].

Корнилов не соглашался. Тогда поднялись громкие разговоры. Большинство совета все-таки соглашалось с предложением Зорина.

Но Корнилов упорствовал.

Вдруг ему доложили, что Меншиков приехал в Севастополь и находится на одной из батарей на Северной стороне.

Корнилов распустил совет, приказал быть готовыми к выходу в море и уехал к главнокомандующему.

Адмирал доложил князю, что он не согласен с мнением совета, и объявил, что выйдет в море.

Меншиков же вполне согласился с советом и приказал затопить корабли на фарватере.

– Я не могу исполнить приказания вашей светлости!

– Ну, так уезжайте в Николаев, к своему месту службы, как начальник штаба черноморского флота и портов! – резко сказал главнокомандующий.

И с этими словами приказал своему ординарцу попросить к себе командира севастопольского порта.

– Остановитесь! – воскликнул Корнилов. – Это самоубийство… то, к чему вы меня принуждаете… Но

[19] Подлинные слова. (Примеч. автора.)

чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем, невозможно! Я готов повиноваться вам!

И через пять дней корабли были затоплены [20].

День девятого сентября был для севастопольцев жутким. Все ждали неприятеля… Все работали, воздвигая укрепления… Корнилов был везде.

К вечеру собрались под Севастополем, на так называемом Куликовом поле, наши войска и расположились бивуаком. Меншиков ни с кем не совещался. Видимо, никому не доверяя, сидел он в маленьком домике, угрюмый, раздраженный, разглядывая карту Крыма, и погруженный в мрачные думы.

Одиннадцатого сентября он отдал приказ, которым возложил оборону всей северной части Севастополя на Корнилова, а заведование морскими командами, назначенными для защиты южной части, – на Нахимова.

Разумеется, князь не сомневался, что, несмотря на геройство Корнилова с его десятью тысячами моряков и двумя батальонами пехоты, несмотря на геройство Нахимова с тремя тысячами моряков, – Севастополь обречен на гибель, если союзники догадаются

---

[20] И через пять дней корабли были затоплены. – С целью преградить доступ флоту противника корабли черноморского флота были затоплены 11 сентября 1854 г., то есть не через пять дней, а через два дня после военного совета.

идти на Севастополь.

И Меншиков торопился уйти от союзной армии и соединиться с подкреплениями, чтобы спасти весь Крым и взять Севастополь обратно, если его неприятель уже возьмет.

Никто в точности не знал его намерений. Все знали только, что главнокомандующий бросает Севастополь ввиду неприятеля, и в эти дни князя Меншикова называли «Изменщиковым».

Даже рассказывали, что светлейший продал Севастополь английскому главнокомандующему лорду Раглану [21]. Рассказывали, будто бы союзники посылали к Меншикову с предложением, чтобы город сдался и ключи были посланы в главную квартиру, и на это князь отвечал: «Ключи я потерял под Альмой, а Севастополь брать вам не мешаю»…

«И взял да и ушел ночью в Бахчисарай!» – прибавляли в Севастополе.

---

[21] Раглан Фицрой Джемс (1788-1855) – английский фельдмаршал, с февраля 1854 г. главнокомандующий английскими войсками в Крыму. Умер под Севастополем от холеры.

IV

В эту памятную ночь разбитые войска Меншикова не долго спали под Севастополем на бивуаках на Куликовом поле. Надо было во что бы то ни было скрыться от неприятеля, как скрывается от охотника затравленный, обессиленный зверь, чтобы зализать раны и удрать под его носом. Обоз был раньше послан по боковой дороге к Симферополю, в обход союзников.

В маленьком домике, закрытом деревьями, сидел за деревянным столом главнокомандующий, задумавший свое смелое фланговое движение.

Это был высокий, худой, болезненный на вид старик, с коротко остриженной седой головой, с темными проницательными глазами, от взгляда которого веяло холодом, надменностью и умом. Его бледно-желтое лицо то и дело морщилось, и губы складывались в гримасу, точно он испытывал какую-то боль.

Он был в пальто с генерал-адъютантскими погонами. Один в комнате сидел он за столом и писал письмо императору Николаю Первому, которого был любимцем. Откровенно писал о своем поражении, напоминая, что давно уже просил сильного подкрепления войсками и способными генералами, и просил сме-

нить его более достойным главнокомандующим.

Затем он писал еще письма и, когда кончил, выпрямился и поднял голову и, казалось, стал еще надменнее и сумрачнее.

Тихим, слегка гнусавым голосом он проговорил:

– Полковник!

Из соседней комнаты вышел полковник, исполнявший в то время обязанности исправляющего начальника штаба и интенданта.

– В полночь уходим на Симферополь… Маршрут всем начальникам известен. Проводники есть?

– Точно так, ваша светлость!

– Штаб не напутал, по своему обыкновению? – с насмешливой, презрительной улыбкой промолвил князь.

– Никак нет, ваша светлость! – докладывал полковник, моргая своими бегающими глазами.

– Ступай и поезжай снова сказать корпусным командирам, что в полночь выступать… И как можно тише… И позови ко мне…

Он минуту подумал и сказал:

– Позови дежурных адъютанта и ординарца…

Начальник штаба был рад, что князь, языка которого все боялись, не очень сердит на своего приближенного и не выгонит его из армии, а оставит его интендантом.

Это было выгодно и вполне безопасно, тем более что в те времена солдаты не смели жаловаться начальству, которое часто само было сообщником интендантов и вместе с ними обирало солдат.

Надменный князь почти никогда и не показывался войскам и словно бы презирал солдат, не обмолвливаясь с ними ни одним словом и даже не здороваясь. Нечего и говорить, что он не входил в положение и нужды солдат и был нелюбимым и чужим главнокомандующим, не внушавшим даже веры в свои боевые способности и мужество.

И только в утро Альминского поражения, – вину которого все, конечно, сваливали на князя Меншикова, – он, хладнокровный, со своей насмешливо-презрительной усмешкой старого скептика и царедворца, не верующего ни в бога ни в черта, ездил шагом перед войсками, не обращая внимания на снаряды и на пули. И потом, бледный и задыхавшийся от бешенства, он напрасно останавливал, потрясая нагайкой, бегущих солдат и бранил отборной бранью генералов и офицеров, бежавших вместе с другими.

Полковник, казалось, уже избавившийся на сегодня от ядовитых замечаний уставшего и раздраженного старика, блестящая карьера которого, и административная и военная – он прославился взятием Анапы [22]

[22] …прославился взятием Анапы… – В русско-турецкую войну

в турецкую войну 1829 года, – омрачилась таким поражением, повернулся, чтобы уйти и исполнить приказания старика.

Но он, движением своей длинной, желтоватой и худой руки, остановил своего подчиненного «на все руки», как звал его в среде штабных главнокомандующий.

Старик, казалось, еще более сморщился, и тонкие его губы, над которыми вздрагивали седые короткие усы, казалось, искривились, когда он поднял глаза на почтительно склонившегося полковника и спросил:

– Накормлены ли солдаты? В исправности ли обоз?

– Солдатики отлично накормлены. На первой же стоянке им будет горячая пища, ваша светлость! – с уверенной хвастливостью ответил полковник. – Обоз в порядке, ваша светлость! – прибавил он и щелкнул почему-то шпорами.

Старик секунду-другую всматривался в красивое, оживленное и почтительно озабоченное лицо полковника своими пронизывающими, холодными и злыми глазами и вдруг чуть слышно спросил:

– И ты не обкрадываешь солдат?

В презрительном тоне главнокомандующего слышалась почти уверенность в том, что интендант об-

---

1828-1829 гг. А.С.Меншиков командовал десантными войсками, которые овладели крепостью Анапа.

крадывает солдат.

Недаром же он слышал сегодня, как солдаты говорили о червивых сухарях.

Полковник побледнел и растерялся от такого неожиданного вопроса.

Но в следующую же секунду он справился с волнением испуга. С умением отличного актера прикинулся он невинно обиженным человеком и вздрагивающим голосом «со слезой» проговорил:

– Ваша светлость! Осмелюсь доложить, что я помню присягу и долг чести. Мне дорог солдат, ваша светлость… И его обкрадывать?!

Кажется, князь не только не поверил этим несколько театральным словам и театральной обидчивости полковника, но только убедился в их лживости.

И обыкновенно сдержанный, высокомерный и холодно любезный, главнокомандующий словно бы отдался во власть внезапно охватившего его бешеного гнева и с дрожащими челюстями и загоревшимся взглядом почти прохрипел:

– Если солдаты будут получать гнилье и будут голодны, – надену на тебя арестантскую куртку… Не забудь…

С этими словами князь указал на двери.

– Наш старик сегодня не в духе! – стараясь казаться развязным и веселым, проговорил полковник, об-

ращаясь к нескольким офицерам штаба, сидевшим и дремавшим в соседней комнате.

И велел казаку подать свою лошадь.

Вошедшему адъютанту главнокомандующий, значительно уже отошедший, вручил конверт и с любезной насмешливостью проговорил:

– Даю тебе случай повидать невесту… Поезжай в Петербург и отдай письмо в собственные руки государю…

– Слушаю, ваша светлость! – ответил молодой высокий блондин.

– Не думаю, чтобы тебя сделали флигель-адъютантом за эти вести! – грустно усмехнувшись, продолжал старик. – Если государю будет угодно спросить о том, что здесь, расскажи, что видел… Можешь побранить и меня. Скажи, что я ухожу, и доложи его величеству, где встретишь дивизии у Дуная… Поедешь в Симферополь через Ялту… По этой дороге не попадешь к ужину к неприятелю… Лучше поужинай в Севастополе и немедленно на фельдъегерской тройке… С богом, любезный барон!

И князь протянул свою тонкую, костлявую руку.

Ординарца, молодого гвардейского офицера, приехавшего из Петербурга и немедленно прикомандированного к штабу, светлейший послал с письмом к главнокомандующему дунайской армией князю Горчакову

[23], о скорейшей высылке двух дивизий.

– Ты, конечно, приехал сюда, рассчитывая, что в первое же сражение свершишь подвиг и получишь георгия… А вместо этого – поскорей будь у Горчакова… Попроси у него ответ и скорей возвращайся… Тогда, быть может, и Георгий от тебя не уйдет!

Разумеется, и молодому офицеру было приказано ехать через Ялту.

Отправивши двух курьеров, старик достал карту Крыма и особенно внимательно рассматривал дороги, окружающие Севастополь, и через несколько минут позвонил.

Вошел старый камердинер.

– Позови ко мне фельдъегеря Иванова и подай, братец, мне чаю.

Явился коренастый, маленький фельдъегерь, и тотчас же старый камердинер подал чай, лимон, сухари и вышел.

– Ты, Иванов, сообразительный человек?

– Не могу знать, ваша светлость! – зычным голосом ответил, несколько выкачивая большие круглые глаза, коренастый фельдъегерь, казалось, никогда не

---

[23] Горчаков Михаил Дмитриевич (1793-1861) – генерал-адъютант. С февраля по август 1855 г. руководил обороной Севастополя. В военных действиях отличался большой нерешительностью, несамостоятельностью.

думавший о том: сообразительный ли он человек, или нет.

Старик поморщился.

– Не кричи, Иванов…

– Слушаю-с, ваша светлость! – совсем тихо промолвил фельдъегерь.

– Вот видишь: ты – сообразительный человек. Так и знай… Так слушай, и чтобы ни одна душа не знала о моем приказании. Получишь от меня бумаги, адресованные в Петербург… Сию минуту сядешь на тройку и поедешь так, чтобы попасться к неприятелю и тебя взяли в плен… Понял?

– Понял, ваша светлость… Поеду, значит, будто заблудился ночью…

– Ты, братец, совсем сообразительный человек! – промолвил главнокомандующий, и по его усталому лицу скользнула улыбка. – И за это я произведу тебя в офицеры и дам денежную награду… Семья есть?

– Жена и трое детей, ваша светлость!

– Что бы ни случилось, они теперь же будут награждены за твой подвиг… Понял, что надо, чтобы неприятель перехватил бумаги?

– Точно так, ваша светлость… И в бумагах, значит, написано для отвода глаз, ваша светлость.

– Молодец, Иванов!.. Ты получишь георгия… Я не забуду тебя… Получи в канцелярии прогоны и подо-

рожную до Петербурга и вот тебе…

Скуповатый князь дал пять золотых и прибавил:

– Надеюсь, хорошо исполнишь поручение. Через час будешь в плену… и тебя немедленно приведут к генералу… На допросе говори, что наша армия в Севастополе и что там пятьдесят тысяч… Говори, что на Северной стороне много батарей… А то говори, что ничего не знаешь…

– Только, мол, приехал из Петербурга. В точности исполню, ваша светлость! Приму смерть, ежели придется, уверенный, что сироты не пропадут без отца…

– Зачем такому молодцу умирать… Только будешь в плену… А как будет мир, вернешься офицером и с Георгием… С богом!

Через пять минут фельдъегерь Иванов сел на перекладную, перекрестился, велел ямщику ехать на Северную сторону и затем по боковой дороге рядом с большой.

– А если француз, ваше благородие?

– Проскочим… Темнота! – отвечал фельдъегерь Иванов.

И снова крестился, почти не сомневаясь, что едет на верную смерть.

V

Предпринимая свое фланговое движение, князь Меншиков не сделал никакого распоряжения, не отдал ни приказа, ни приказания по войскам. Все делалось на словах. И потому только слепое счастье избавило армию Меншикова от истребления.

В ночь на двенадцатое сентября двинулась его армия.

Баталионы шли скорым шагом не по дороге, а «воробьиным путем», как говорили солдаты. Разговор был шепотом. Трубок не велено было курить. Полки за полками подымались на Мекензиеву гору. Дорога оставлена была для артиллерии и обозов, а солдаты шли целиком по каменистому грунту, покрытому терновым и кизиловым кустарником. Шли дубняком, шли лесом, карабкались на высоты и делали привал. Путь был трудный, утомительный. Запрещали даже шептать и приказывали мягче ступать на землю ногами.

Не зная дорог и не имея карты окрестной местности, войска блуждали, сбивались с пути… На Мекензиевых высотах в лесу попались навстречу английские разъезды. «Неприятель вежливо посторонился и дал русским дорогу».

До рассвета ни русские, ни союзники не подозрева-

ли, что их разделяет только темная ночь и что они находятся так близко друг возле друга.

С рассветом дело объяснилось.

Все три главнокомандующие с удивлением заметили, что они, по выражению Нахимова, «играли в жмурки и обменялись позициями»: мы шли с юга на север, а союзники почему-то побоялись брать Севастополь с севера, шли с севера на юг.

Но опять бездарность главнокомандующих союзных войск спасла нашу армию, которая настолько ушла вперед, что уже не могла быть атакована неприятелем.

В Севастополе вздохнули, когда с возвышенностей увидали длинную синюю ленту французов, направляющихся в обход Севастополя на Южную сторону, и скоро было видно, что неприятель не решится немедленно штурмовать город.

И каждый день нерешительности союзников давал севастопольцам возможность усиливать оборону города, совсем плохо укрепленного, несмотря на то, что и в Петербурге, и князь Меншиков уже давно знали о готовящемся нападении на Севастополь. И будь главнокомандующие союзников решительнее и лучше осведомлены о слабости укреплений и на Южной стороне, они могли бы легко войти в Севастополь с распущенными знаменами.

Но город не терял надежды защищаться, хотя Меншиков и бросил Севастополь.

Но союзники ничего не предпринимали в ожидании перехода их флота к Балаклаве и выгрузки осадных орудий. А в это время благодаря энергии и находчивости Корнилова, одушевлявшего всех, на Южной стороне вырастали батареи. В две недели было сделано то, чего не подумали сделать за несколько месяцев раньше.

По-видимому, никто не рассчитывал, что наша плохо вооруженная армия будет так разбита, несмотря на отвагу и храбрость солдат. По-видимому, не думали, что князь Меншиков, вельможа и умница, не имел способностей военачальника.

В то время все в Севастополе видели в Корнилове того единственного, решительного, необыкновенно талантливого и мужественного человека, который мог спасти Севастополь. И севастопольцы еще лихорадочнее укрепляли родной город и не теряли надежды защитить его, хотя Меншиков и бросил Севастополь.

В течение десяти дней об армии не было ни слуха ни духа. Меншиков не знал, что с Севастополем, где неприятельская армия. Он точно скрывался.

А Корнилов, одетый в блестящую генерал-адъютантскую форму, окруженный свитой, объезжал

вдоль всей оборонительной линии, приветствуемый громкими криками матросов и солдат.

И он остановился и сказал войскам:

– Царь надеется, что мы отстоим Севастополь. Да нам и некуда отступать: позади море, впереди – неприятель. Князь Меншиков обманул и обошел его, и когда неприятель нас атакует, то наша армия ударит на него с тыла. Помни же, не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду [24]. Тот изменник, кто протрубит ретираду! И если я сам прикажу отступать – коли и меня! [25]

Раздалось громкое «ура».

А матросы прибавляли:

– Умрем за родное место!

«В эти немногие дни, – говорит историк, – Корнилов, проявивший необыкновенную деятельность и добровольно принявший всю ответственность перед отечеством, был неизмеримо выше его окружающих. Это был человек, сделавшийся руководителем обороны не по старшинству, а по своим способностям и энергии. Хладнокровный в столь трудных обстоятельствах, Корнилов смотрел на дело прямыми глазами, не увлекаясь, но и не отчаиваясь».

Ободряя защитников Севастополя утром пятна-

---

[24] Ретирада – отступление.

[25] Подлинные слова. (Примеч. автора.)

дцатого сентября, на другой день после рекогносцировки [26] союзных главнокомандующих в ближайших окрестностях города, Корнилов в тот же вечер писал своей жене:

«Наши дела улучшаются. Инженерные работы идут успешно. Укрепляемся, сколько можем, но чего ожидать, кроме позору, с таким клочком войска, разбитого по огромной местности, при укреплениях, созданных в двухнедельное время… Если бы я знал, что это случится, то, конечно, никогда бы не согласился затопить корабли, а лучше бы вышел дать сражение двойному числом врагу… С раннего утра осматривал войско на позиции: шесть баталионов солдат и пятнадцать морских, из матросов. Из последних четыре приобучены порядочно, а остальные и плохо вооружены, и плохо приобучены. Но что будет, то будет – других нет. Может, завтра разыграется история. Хотим биться донельзя. Вряд ли поможет это делу. Корабли и все суда готовы к затоплению. Пускай достанутся развалины Севастополя».

По счастию, союзники не думали о штурме. Они приготовлялись к правильной осаде.

Севастопольцы вздохнули и ждали армии.

Меншиков между тем выжидал подкреплений и продовольствия и, сам не зная, что с Севастополем и

[26] Рекогносцировка – разведка местности.

где армия союзников, обнаруживал нерешительность и, видимо, не имел определенного плана.

Это был далеко не тот князь Александр Сергеевич Меншиков, которого знали и видели под Анапой и Варной в 1829 году. Теперь это был человек, подавленный силою обстоятельств, недоверчивый до крайности, недовольный своим положением и всеми окружающими.

Но зато и Меншиковым были все недовольны. Особенно солдаты. Они чувствовали презрение вельможи и отчаянного крепостника, не понимающего солдата, выносливого, терпевшего все ужасы войны, обираемого и покорно умирающего солдата.

И он имел еще бессердечие доносить в Петербург, что солдаты дрались под Альмой дурно, тогда как они умирали в бою и должны были бежать главным образом благодаря самому главнокомандующему и генералам. А Меншиков сваливал все свои ошибки на подчиненных и на войска.

Только семнадцатого сентября князь узнал, что Северная сторона совершенно свободна, и восемнадцатого сентября он подошел к Севастополю.

Севастопольцы с радостью смотрели на подходившие войска.

С этого дня защитники видели, что их уже не горсть против армии союзников.

Как только вернулись войска и стало известно, что дорога на Симферополь свободна и от неприятеля и от разбоев татар, часть которых перешла к неприятелю в Евпаторию, обложенную отрядом нашей кавалерии, пришедшей из России, – все семьи адмиралов, генералов, офицеров и крымских помещиков и все более или менее состоятельные жители выехали из Севастополя.

Он заметно опустел.

Оставались только военные, многие отставные матросы, рабочие и мужики. Остались матроски и солдатки, не пожелавшие оставить мужей и сыновей в опасности.

ГЛАВА IV

I

Оба главнокомандующие – Сант-Арно [27] и лорд Раглан, едва ли способные полководцы – не сомневались, что после решительной победы под Альмой они без труда возьмут Севастополь с Южной стороны, не совсем укрепленной, как сообщали союзникам татары.

Но когда неприятельские армии, не особенно торопясь, подошли, наконец, к Севастополю и союзники увидели с высот линию укреплений, окружающих Южную сторону, то сочли себя преднамеренно обманутыми татарами. И несколько проводников татар были повешены.

Татары, конечно, были правы, когда пять дней тому назад говорили о беззащитности Севастополя, и сделались невинными жертвами.

---

[27] Сант-Арно (правильнее Сент-Арно) Арман Жак Леруа (1801-1854) – политический и военный деятель Франции, один из активнейших участников государственного переворота, приведшего к установлению диктатуры Наполеона III. В период Крымской войны был главнокомандующим французскими войсками.

Действительно, в эти дни, когда Меншиков с армией был под Бахчисараем, выжидая подкреплений, а союзные армии направлялись к Южной стороне Севастополя, севастопольцы воздвигали с поражающей быстротой ряд новых укреплений, опоясывающий город на протяжении семи верст. В две ночи и один день было поставлено более ста больших орудий.

Работали севастопольцы и день и ночь: и матросы и все жители города.

По словам историка, «в земляных работах участвовали все, кто только мог: вольные мастеровые, мещане, лакеи и, словом, все свободные люди, женщины и дети. Женщины носили воду и пищу, засели за шитье мешков и кулей; дети таскали землю на укрепления».

Несмотря на быстроту сооружений обороны, немедленный штурм города, в котором было не более пятнадцати тысяч плохо вооруженных защитников, отдал бы его во власть неприятеля; большая часть севастопольцев была бы перебита, и условия мира были бы унизительнее для России.

Французский главнокомандующий Сант-Арно, желавший угодить своему императору, Наполеону Третьему, которому помогал в перевороте и в измене против республики, которой оба присягали, – этот генерал хотел после бомбардировки идти на приступ, чтоб назвать падение Севастополя «крестинами Вто-

рой империи», еще только недавно основанной…

Но Сант-Арно, уже серьезно болевший, почувствовал себя безнадежным в тот самый день, как привел свою армию к Севастополю. Главнокомандующий принужден был сдать армию и уехал, чтоб умереть по дороге в Константинополь.

Новый главнокомандующий французской армии Канробер [28] и лорд Раглан, главнокомандующий английскими войсками, колебались, и прошло несколько дней, пока они совещались о том, что делать: штурмовать Севастополь или вести правильную осаду.

Нечего и говорить, что отъезд Сант-Арно и каждый день нерешительности и промедления главнокомандующих были на руку севастопольцам.

Они усиливали оборону, улучшали укрепления и к четырнадцатому сентября на оборонительной линии могли поставить уже сто семьдесят два орудия.

Прошла еще неделя, когда союзники приступили к осадным работам. И в эти дни русские говорили:

– Союзники пришли полюбоваться Севастополем нашим.

– Видно, ждут, чтобы Меншиков атаковал их, как вернется с подкреплениями.

---

[28] Канробер Франсуа (1809-1895) – маршал Франции. После смерти Сент-Арно и до весны 1855 г. – главнокомандующий французскими войсками в Крыму.

Меншиков хоть и вернулся, но не смел и думать об атаке. Пока подкреплений было очень мало, и главнокомандующий мог усилить севастопольский гарнизон войсками. В лагере, на Северной стороне, у Меншикова оставалось только двадцать тысяч солдат.

«Была в его распоряжении только что прибывшая в Крым кавалерийская дивизия. Но она была поставлена около Евпатории для наблюдения за турецким корпусом, укрепившимся в этом городе, для охранения наших сообщений с Россией и для успокоения края. Татары на полуострове волновались и разбегались из селений».

Пользуясь отсутствием жителей, войска наши были полными хозяевами деревень и совершенно разорили все окрестное население. Главная часть богатства, домашний скот, был отогнан, другой – взят войсками. Грабили не только татар, но и русских помещиков в Крыму.

Безжалостное разорение татар оправдывалось тем, что они изменники оттого, что разбежались, и, следовательно, их нечего жалеть.

Но одно официальное сообщение того времени взывало к жалости.

Вот что доносил главнокомандующему доблестный майор Гангардт, имевший по тому времени большое гражданское мужество – говорить правду:

«Татары Евпаторийского уезда, без сомнения, сами навлекли на себя те бедствия, которые теперь испытывают. Но, рассмотрев все обстоятельства, сопровождавшие быстрое подчинение целого уезда власти неприятеля, нельзя не сознаться, что мы сами виноваты, бросив внезапно это племя, – которое, по религии и происхождению, не может иметь к нам симпатии, – без всякой военной и гражданской защиты от влияния образовавшейся шайки фанатиков. Надобно удивляться, что врожденная склонность татар к грабежам не увлекла толпу в убийства и к дальнейшему возмущению в прочих местах Крыма, долго оставшихся без войск. Я убежден, что изыскания серьезного следствия докажут, что в татарском народе далеко нет того духа для измены, какой в нем предполагают, и потому следовало бы принять решительные меры, чтобы жалкое население многих деревень Евпаторийского уезда, разбежавшееся от страха, что казаки их перережут, и лишившееся через то всего своего имущества, не погибло от голода и стужи с приближением суровой зимы» [29].

[29] «История Крымской войны». (Примеч. автора.)

II

В первую ночь на новоселье у «дядьки» Маркушка спал отлично. И ему снились те чудные сновидения, которые часто балуют людей, испытывающих наяву тяжелое горе.

Мать Маркушки, веселая, здоровая, с добрыми глазами, была около. Она говорила ласковые слова своему любимцу и гладила его кудрявую голову.

И Маркушка во сне счастливо улыбался.

Бугай, по обыкновению рано вставший, уже выходил на улицу, полюбовался чудным ранним утром, еще дышавшим свежестью, посмотрел на любимый им Севастополь с его глубокими бухтами, над которым солнце тихо поднималось по бирюзовому небу, помолился и пошел за бубликами к старому своему приятелю, татарину-булочнику Ахмету.

– Что, брат Ахметка? – промолвил Бугай, пожимая руку татарина.

– Думал: они ночью придут!

– Видно, бог лишил рассудка француза и гличанина. Не пришли.

– Придут, Бугай.

– Встретим, Ахметка!

– Аллаху все известно.

– А ты, Ахметка, чего не уходишь?

– Куда уходить?

– К турке… Сказывают, ваши бунтуют…

– Испугались русских и бунтуют. Русский не понимает татар, какие они народ… А мне зачем уходить?.. Привык здесь. В Байдар отцы жили, и я умру там, если аллах дозволит… Под султаном земли не дадут… Там скорей человеку секим-башка.

– То-то оно и есть… Живи, братец ты мой, на своем месте. Ты, Ахметка, с рассудком. А у бога все люди равны! – неожиданно прибавил Бугай.

– На сколько тебе бубликов, Бугай?

– Давай на две. У меня постоялец – Маркушка.

– Хороший Маркушка! – сказал татарин.

Бугай взял бублики и пошел домой.

С кораблей и с ближайших батарей донесся звон колоколов, отбивавших две склянки – пять часов утра. Город еще спал, но вокруг слышался гул работы. Слободка поднималась. Из хат выходили мужчины и женщины, направляясь к окраине города. У многих были ломы и лопаты. У баб – мешки. Все торопились.

Старик яличник спросил знакомого отставного матроса:

– Где батареи работаешь?

– Около четвертого баксиона. Отсюда ближае! – на ходу ответил старый матрос, слегка прихрамывая на

одну ногу, давно переломанную на корабле, когда сорвался с реи и упал на палубу.

– Как он придет – увидит, как встретим! – хвастливо проговорил какой-то подросток.

– И матроски пригодятся, дедушка. Подсыпем земли! – смеясь, проговорила молодая женщина.

– И Севастополя, дедушка, не отдадим! – возбужденно воскликнула другая.

– Молодецкие внучки и есть! – ответил Бугай.

Он вошел к себе, заварил чай и только тогда разбудил своего маленького приятеля.

Маркушка быстро оделся и вместе с «дяденькой» стал пить чай.

Мимо открытого окна проходили люди.

И Маркушка спросил:

– Это куда наши идут, дяденька?..

– На работу… Помогать строить батареи, Маркушка…

– Пустите, дяденька, и меня к тятьке на баксион… Приказал проведать…

– Сходи…

– Может, дозволите и подсобить на стройке батарей… А вечером на ялик, дяденька…

Бугай ласково посмотрел на мальчика и сказал:

– Вместе пойдем.

– Куда?

– Туда, куда люди пошли…

– А как же с яликом?

– Ты молодца… Сердце-то подсказало, что там, – и старый матрос указал пальцем по направлению к бульвару, – мы с тобой нужнее, чем на ялике… Не торопись… выпей еще стакан… Бублики ешь.

Через пять минут яличник и его маленький подручный уже шли на пристань, и Бугай предложил нанятому им на ночь человеку остаться на день, а то и на два или три…

– А ты?

– Мы с Маркушкой землю копать… А у тебя ноги больные… Сиди на шлюпке да греби, пока мы не придем… Так, что ли?..

Дело было слажено, и Бугай с Маркушкой пошли.

– На рынок зайдем, Маркушка. Как зашабашат на работе – будем с обедом.

Рынок, расположенный у Артиллерийской бухты, был менее оживлен, чем бывал обыкновенно в ранние часы утра. Но все-таки толкались толпа покупателей и покупательниц; среди говора выделялись громкие голоса торговок.

На небольшой площади рынка стояли маленькие лавчонки, палатки, ларьки и столики. Висели туши быков, свиней и баранов. Повсюду кучи овощей; высились горы арбузов, дынь, и стояли корзины с фрукта-

ми. У самого берега продавали свежую камбалу, султанку и бычков. Там же можно было купить устрицы и мидии. А в стороне валялась любимая народная вяленая тарань.

Бугай купил хлеба и соли, огурцов, кусок ветчины, несколько арбузов, две бутылки кваса и на копейку леденцов, все уложил в кулек и сказал:

– Ловко пообедаем, Маркушка… Валим!

Они свернули на Екатерининскую (большую) улицу. Середина ее была запружена матросами, которые тащили большие орудия. То и дело на тротуарах попадались раненые солдаты. Изредка проезжали татары верхами.

Окна большей части домов были закрыты ставнями.

– Нахимов небось встал! – промолвил Бугай, указывая на раскрытые окна в квартире адмирала. – И Корнилов, может, и ночь не спал… в заботах… А есть которые начальники и дрыхнут… Ну, да Корнилов их разбудит… Он сонь и лодырей обескуражит… Не таковский!

Мимо проехал шибкой рысью высокий молодой полковник в белой фуражке, с перекинутым через плечо тонким ремнем, на котором болтались длинный круглый футляр и подзорная труба.

– А это анжинер Тотлебев! – сказал Бугай, переина-

чивая фамилию Тотлебена. – Сказывают: скорый и башка по своей части… Всем стройкам начальник… До его не знали, как приступить, а как приехал с Дуная – закипела работа… Поедет за город, оглядит кругом и тую же минуту: «Здесь, мол, стройте баксион. Здесь батарея. Здесь, мол, насыпай потолще вал»… И так, Маркушка, вокруг города объезжал… А на эти дела Тотлебев, я тебе скажу, собака и глаз… Наскрозь видит…

– А что у него сзади болтается, дяденька? – спросил любознательный мальчик.

– Труба подзорная… Знаешь?

– Знаю.

– И планты.

– Какие планты?

– Нарисовано, значит, как строить. Дал плант офицеру и… понимай. А прекословить не смей… Сказывали люди, что в ем большая амбиция… Ему одному, значит, чтобы все уважение. И без его чтобы никто не касался…

– И строгий, дяденька?

– Строгий… Однако не зудит, даром что из немцев… Немец, Маркушка, завсегда донимает словами… На то и немец… Любит, чтобы по порядку вымотать душу… Был у нас на «Тартарарахах» (корабль «Три иерарха») старшим офицером один та-

кой немец… В тоску ввел… Спасибо Нахимову… бригадным тогда был… Ослобонил матросов… «Переводись, говорит, немец, в Кронштадт… А у нас, говорит, в Черном море, немцу не вод».

Скоро Бугай и Маркушка вошли на большой бульвар, на окраине города, на горке, заканчивающейся обрывом… Внизу синелась Корабельная бухта. На другой стороне бухты высились доки, слободки, и за ними белела башня над Малаховым курганом.

Бульвар лишился деревьев. Они были срублены. На конце бульвара уже стояла батарея…

Впереди бульвара почти был готов четвертый бастион; из амбразур чернели орудия. Вся местность вокруг была полна рабочими, рывшими и насыпавшими новые укрепления…

Бугай и Маркушка вошли в бастион.

Занятые работой матросы не обратили на пришедших внимания. Офицеры были тут же и наблюдали за работами.

Все работали быстро и возбужденно, видимо стараясь скорей привести свой бастион в боевую готовность и в такой порядок, к какому привыкли на своих кораблях. И чувствовалось, что у всех уже есть что-то любовное к своему бастиону, какое бывает у хозяйственных людей, устраивающих свои жилища на долгое время.

– Гляди, Маркушка! – проговорил Бугай, указывая на большие корабельные пушки, дула которых смотрели в амбразуры, прорезанные в вале, за которым мог скрываться человек от пуль. – Из эстих самых и будем встречать гостей орехами. А где, братцы, тут Игнат Ткаченко? – обратился Бугай к ближним матросам.

Маркушка уже увидал отца у последнего орудия, в конце бастиона, и побежал к нему.

Он обкладывал фашинником «щеки» амбразуры [30], вполголоса мурлыкая какую-то песенку.

– Здравствуйте, тятенька! – проговорил мальчик.

Отец поднял голову, и по его лицу пробежала радостная улыбка.

– Здравствуй, Маркушка… И дурак же ты… В шабаш приходи! – воркнул Ткаченко.

Однако бросил работу, пожал руку сына и торопливо промолвил:

– Видишь, спешка… Где живешь?

– У дяденьки Бугая… В рулевых…

– В кису не накладывал тебе?.. – с ласковой шутливостью спросил матрос.

---

[30] …обкладывал фашинником «щеки» амбразуры… – Фашинник – перевязанные пучки хвороста цилиндрической формы. Служат для укрепления берегов, дорог и т.д. Амбразура – здесь: отверстие в земляном бруствере окопа для стрельбы из орудия.

– Не накладывал…

– Не за что… Твой Маркушка молодца! – промолвил подошедший Бугай.

– Зачем, Бугай, не на ялике?

– Сюда работать пришли… И Маркушка пожелал…

– Правильно, Маркушка. Потрудись за Севастополь!.. А пока лясничать некогда… Не похвалят и меня и тебя, дедушку с внуком… Начистит зубы батарейный… У нас и на баксионе, как на корабле…

С этими словами Ткаченко принялся за работу у амбразуры.

– А ты, Игнашка, комендором? – спросил Бугай.

– Комендор.

– Смотри, шигани его!

– Шигану… Только приходи!

– Пообедаем с Маркушкой и зайдем…

– То-то зайди, братцы… А за Маркушку спасибо, Бугай… Сирота ведь!

– Форменный рулевой… Ну, валим, Маркушка. Тятьку повидал и на работу!

Через несколько минут наши добровольцы были уже за бастионом, где шла работа.

Каждый из них получил по лопате, встали в длинный ряд рабочих и принялись рыть землю.

Бугай и Маркушка работали изо всех сил, сосредоточенно и молча. Маркушка увидел, что не один он

был такой мальчишка. Он заметил, что среди вольных рабочих были и приятели-мальчишки, и знакомые девочки, и матроски из слободки.

И Маркушка ожесточеннее рыл каменистую землю.

Вдруг в первых рядах раздалось «ура» и подхватилось следующими рядами. Закричали «ура» Маркушка и Бугай и сняли шапки.

В нескольких шагах остановился на лошади высокий, сухощавый, слегка сгорбленный Корнилов.

Еще громче кричали «ура».

Серьезное и умное лицо Корнилова, бледное и утомленное, дышало энергией и решимостью. Усмешка играла на его тонких губах.

Он махнул рукой. Все смолкли.

– Спасибо, братцы! – проговорил он, возвышая голос. – К вечеру вы и батарею поставите. Уверен… И врага не пустим в Севастополь! – прибавил адмирал.

– Не пустим! – раздался в ответ восторженный крик.

– Еще бы пустить с такими молодцами! – крикнул Корнилов.

Он хотел было ехать дальше, как заметил старика Бугая.

И припомнил лихого марсового и отчаянного пьяницу на корабле «Двенадцать апостолов», которым Корнилов прежде командовал.

– Кажется, старый знакомый… Бугай? – спросил адмирал.

– Точно так, Владимир Алексеич! – отвечал старик, обрадованный, что Корнилов не забыл прежнего формарсового.

– Чем занимаешься?

– Яличник, Владимир Алексеич!

– Вижу – прежний молодец. Спасибо, что здесь, Бугай!

И адмирал кивнул головой и поехал шагом дальше, сопровождаемый адъютантом.

«Ура» пронеслось еще раскатистее. И словно бы стараясь оправдать уверенность Корнилова, рабочие, казалось, еще ретивее и быстрее продолжали работу… И насыпи батарей поднимались все выше и выше.

– Небось вспомнил марсового! – промолвил про себя Бугай, наваливаясь со всех сил на лопату.

А после слов Корнилова Маркушка, казалось, чувствовал себя необыкновенно сильным и уверенным, что врага не пустим.

– Ведь не пустим, дяденька?

– Не пустим, Маркушка!.. Да не наваливайся так… Полегче… Надорвешься, Маркушка!..

Палящее солнце уже было высоко. Жара была отчаянная. Рабочие обливались потом, но, казалось, не обращали на это внимания, и почти никто не делал передышки.

В одиннадцать часов прозвонили шабаш на целый час.

И много баб и детей, только что пришедших из города, уже раскладывали на черной земле принесенные ими мужьям, отцам и родственникам посуду и баклаги с обедом.

– Давай, Маркушка, и мы пообедаем. Кулек-то у нас с важным харчем… Проголодался? – спрашивал Бугай, вынимая съестное и раскладывая его на своем

пальтеце.

– Не дюже, дяденька…

– Видно, уморился? Ишь весь мокрый, как пышь из воды.

– Маленько уморился… Но только передохну и шабаш… Не оконфузю Корнилова. А главная причина – жарко!

– А ты ешь, и не будет жарко… Ветчина-то скусная с булкой… Ешь, мальчонка… И огурцы кантуй… Очень даже хорошо с сольцей…

Маркушка ел торопливо, рассчитывая воспользоваться шабашем, чтоб сбегать на бастион – посмотреть на него и проведать отца. Не отставал и Бугай и промолвил:

– Даром, что седьмой десяток, а зубы все целы! Отпей и кваску, Маркушка… Отлично!

И ветчину и огурцы они быстро прикончили…

– Теперь давай кавуны есть.

Но Маркушка деликатно отказался. Однако арбуз взял.

– Да ты что же, Маркушка?

– Тятьке бы снес…

– Добер же ты, Маркушка. Однако ешь… Мы тятьке и два принесем… Хватит и на нас…

После того как Маркушка съел арбуз, старый яличник подал мальчику сверток с леденцами.

– Это ты один ешь… А мы с твоим тятькой этим не занимаемся. А ты любишь?

– Очень даже… Спасибо вам, дяденька.

– Завтра опять будет тебе такая прикуска… А теперь пойдем на баксион…

Когда Бугай с Маркушкой пришли на бастион, матросы, разбившись артелями, еще сидели, поджавши ноги на земле, за баками и только что, прикончив щи, выпрастывали мясо, разрезанное на куски. Все ели молча и истово, не обгоняя друг друга, чтобы каждому досталось крошево поровну.

– Чего раньше не пришли? – спросил Ткаченко. – Скусные были шти… А теперь присаживайся, Бугай и Маркушка… Хватит и на вас.

– Присаживайся! – поддержали и другие обедавшие.

– Сыты, матросики… Обедали… Может, Маркушка хочет…

Не захотел и Маркушка и, подавая отцу два арбуза, промолвил:

– Это вам… Дяденька позволил.

– А надоумил принести тебе, Ткаченко, твой Маркушка, – вставил Бугай.

– Ты? – спросил Ткаченко.

– Я, тятенька! – ответил мальчик.

– Молодца… Отца угостил…

И все похвалили Маркушку.

– У меня карбованец есть для вас! – неожиданно произнес Маркушка, обращаясь к отцу.

И, доставши из кармана штанов серебряный рубль, подал его отцу.

– Откуда карбованец? – строго спросил черномазый матрос и нахмурил брови.

– Сам Нахимов дал! – горделиво объявил Маркушка.

– Павел Степаныч! – воскликнул Ткаченко. – Да как же ты с Павлом Степанычем говорил?

Маркушка рассказал, как он «доходил» до Нахимова, и отец, видимо довольный своим сыном, сказал:

– Провористый же ты, Маркушка… Мальчонко, а отчаянный… Никого не боится… А ежели к Менщику… дойдешь? – шутил Ткаченко.

– Дойду.

– А если Менщик велит тебя сказнить?

– За что?

– А так. Велит сказнить и… шабаш!

– Сбегу от него и прямо к Нахимову… Так, мол, и так… Как он решит…

Матросы смеялись.

Когда убрали бак, Ткаченко разрезал два арбуза на десять частей, и вся артель съела по куску; затем все разошлись и кое-где прилегли заснуть до боцманско-

го свистка.

Ткаченко поговорил несколько минут со своим приятелем Бугаем и с Маркушкой, и скоро матроса потянуло ко сну.

И он прилег около орудия.

Захотелось соснуть после обеда и Бугаю.

И он сказал Маркушке:

– Валим домой… на стройку батареи… Там я сосну, и ты отдохни… И твой тятька хочет спать…

– Это Бугай верно говорит. Через склянку разбудят…

Маркушка просил остаться. Он не помешает отцу. Он походит здесь и посмотрит, как на «баксионе».

– Очень занятно. Дозвольте, тятенька!

– Ну что ж… Погляди… Ишь любопытная егоза! Да смотри не опоздай на работу, землекоп!.. Пока прощай, Маркушка! А завтра приходи к обеду.

– Не опоздаю… завтра прибегу в обед! – проговорил Маркушка.

И, засунув в рот два последние леденца, пошел по бастиону и разглядывал все, что его интересовало.

А смышленого мальчика интересовало все.

Когда Маркушка отошел, Ткаченко остановил Бугая и сказал:

– Все под богом ходим… Придет он, пойдет на штурм, может, и убьет, а то бондировкой убьет.

– К чему ты гнешь, Игнат?

– А к тому, чтобы поберег сироту… Маркушку, пока он войдет в понятие.

– Он и теперь в понятии… И будь спокоен… Маркушку поберегу.

– Спасибо, Бугай!

– Пока прощай, Игнашка.

Бугай вернулся на стройку. Там царила тишина. Усталые, все после обеда крепко спали на земле.

А Маркушка тем временем спустился вниз, обошел бастион, прошел по рву, увидал, где пороховой погреб и где лежат бомбы.

Кто-то указал на маленькие землянки, где жили офицеры.

Маркушка хотел уже идти на стройку, как из одной землянки вышел знакомый мичман, Михаил Михайлович Илимов.

Он весело окликнул Маркушку и спросил, зачем он здесь?

Маркушка объяснил, что «строит батарею», а в шабаш заходил к отцу, а теперь «бакцион» обглядывал.

– Любопытно?

– Очень даже, Михайла Михайлыч! – ответил Маркушка.

И после нескольких мгновений прибавил:

– Дозвольте просить вас, Михайла Михайлыч!

– Что тебе?

– Разрешите мне поступить на бакцион!

Молодой мичман вытаращил глаза.

– Да ты с ума сошел, Маркушка? Видно, не понимаешь, о чем просишь?..

– Очень даже понимаю, ваше благородие.

– Ведь тут, Маркушка, только теперь любопытно, а как придут союзники… да как начнут бомбардировать, могут убить тебя…

– Да что ж…

– Ты еще мальчик… Тебе рано воевать.

– Я заслужил бы, Михайла Михайлыч… В какую должность пристроите – буду стараться… Будьте добренькы…

– Не смей и думать… Лучше уезжай из Севастополя.

– Не поеду… Пока я рулевым… А ежели вы не определите на баксион, буду просить Нахимова. Он меня знает… Видит, что я, слава богу, не маленький…

Мичман смотрел на маленького, худенького, востроглазого мальчика с серьезным умным лицом и расхохотался.

– Что ж, просись… Только и Павел Степаныч не назначит… Поверь, Маркушка. Мальчиков на смерть не посылают… Вот услышишь, как будет бомбардировка, тогда и сам не захочешь сюда…

– Что ж, подожду бондировку, и ежели не испугаюсь… буду проситься…

– Какое же думаешь место?

– Какое угодно… Только, чтобы был в защитниках… Не оконфузю вас… Мало ли какое дело найдется и для мальчика.

– Хвалю за твою отвагу… Но мальчикам еще рано сражаться… Выбрось это из головы, пока мал… А как вырастешь… тогда другое дело… И ни у кого не просись… Ну, до свидания, Маркушка. Пока неприятеля нет, зайди ко мне… Я покажу всем такого мальчика!

Маркушка ушел с бастиона. Во всю дорогу он мечтал о том, как будет защищать Севастополь, и решил после первой же бомбардировки проситься на бастион.

Бугай спал и только делал гримасы, когда злые мухи бегали по его лицу, щекотали губы и нос.

Тогда Маркушка присел около «дяденьки» и, найдя камышовку, стал обмахивать ею лицо своего пестуна и друга, раздумывая о том, как решит «дяденька» насчет «баксиона».

Пробил колокол, и все поднялись. Через минуту принялись за работу.

К вечеру зашабашили.

На смену дневных рабочих на работу пришли ночные. Были зажжены смоляные факелы, разгонявшие

мрак ночи, и рабочие рыли землю и насыпали ее. А матросы уже привезли орудия на сооружаемую батарею.

Усталые вернулись Бугай и Маркушка домой, напились чаю и легли спать.

Но прежде чем заснуть, Маркушка рассказал Бугаю об отказе мичмана и его намерении проситься у Нахимова.

– Не просись, Маркушка… Не будь глупым, не твое это дело! Вот ежели бы взрослых людей не было, потребуют и нас, стариков… А мальчонков грешно звать на войну… И напрашиваться нечего без нужды на смерть. Шорцу своего не показывай зря, Маркушка… И ничего хорошего нет, коли приходится людей убивать… Я с черкесами дрался… Видел, как люди друг друга убивают… И сам двух пристрелил… Ты думаешь, приятно?.. Небось собаку зря не убьешь, Маркушка!.. Не просись туда, куда тебя не зовут!.. А теперь спи, Маркушка!

ГЛАВА V

I

Это первое бомбардирование Севастополя было тем ужасным крещением людей страданиями и смертью, которое словно бы предупреждало о том, каковы будут последующие бомбардирования, когда осадные укрепления подвинутся еще ближе к нашим, станут вырывать по тысяче человек в день и дадут полуразрушенному Севастополю кличку «многострадального».

Четвертого октября союзные батареи, обложившие кольцом наши, были готовы, и все предвещало, что на другой день будет бомбардировка.

Армия Меншикова по-прежнему стояла на Северной стороне. Гарнизон Севастополя был достаточен для прикрытия бастионов и батарей. Но солдаты были без всякой защиты от ядер и бомб, «так как в первую бомбардировку еще не было сделано ни блиндажей, ни закрытых путей для сообщения между бастионами».

Раннее утро пятого октября было пасмурное, и стоял такой туман, что не было видно в нескольких ша-

гах.

Но в шестом часу утра стало проясняться. Туман таял.

Загрохотали выстрелы с ста двадцати орудий союзников, и в ту же минуту стали отвечать наши бастионы и батареи. Снаряды осыпали наших: все, кроме прислуги при орудиях и офицеров, старались скрыться от ядер и бомб, а скрыться было некуда.

По счастию, начальство догадалось отвести солдат прикрытия в ближайшие улицы города. Там опасность сравнительно была меньшая.

«Стрельба по городу и окружающим его укреплениям с каждым часом усиливалась, и в самое короткое время все пространство, разделяющее двух противников, покрылось таким густым пороховым дымом, что и на близком расстоянии не было возможности видеть предмета. Облака порохового дыма, несясь над городом, скрывали от глаз не только все батареи и всю окрестность, но и самое солнце. Свет его померкнул, и оно казалось раскаленным шаром или кровавым кругом, медленно опускавшимся над горизонтом. Были такие минуты, когда вокруг ничего не было видно, кроме дыма, прорезываемого огненными языками, вырывавшимися из орудий. О правильном прицеливании не могло быть и речи; приходилось наводить орудия по сверкавшим огонькам неприятельских вы-

стрелов».

«Тучи снарядов скрещивались в воздухе; одни летели к нам, другие к неприятелю. Ядра, бомбы, гранаты, камни, щебень, земля и пыль – все завертелось и закружилось в воздухе».

Ветра не было. Воздух был так сгущен, что трудно было дышать.

От непрерывного гула орудий и от сотрясения, производимого выстрелами, казалось, трепетала земля.

Смерть летала по бастионам и по городу в виде бомб и гранат, лопающихся и разлетающихся осколками, которые осыпали войска, стоявшие на улицах. Ядра и бомбы взрывали мостовую и разрушали стены домов.

Оставшиеся в городе жители скрывались в своих домах и в погребах. Но находились женщины, старавшиеся помочь солдатам, подавая им, истомленным от жары и духоты, воду.

Одна дама, передававшая стаканы чая в окно офицерам, которые с флотским баталионом была на улице, у дома, говорила:

– Господа офицеры! Помните, что женщина присоединила Крым к России [31], а вы, мужчины, смотрите, не отдайте его неприятелю!

---

[31] Помните, что женщина присоединила Крым к России… – Крым был присоединен к России в 1783 г. в царствование Екатерины II (1729-1796).

И офицеры и матросы, конечно, обещали не отдать.

Бабы, под градом снарядов, обносили солдат водой.

– Жалко вас! – просто говорили бабы.

Арестанты, выпущенные в этот день Корниловым и посланные на бастионы, более других поврежденные неприятельскими снарядами, по словам историка «Крымской войны и обороны Севастополя», оказывали бесстрашие наравне с «неотверженными» людьми.

«Они тушили пожары на бастионах, заменяли подбитые орудия, подносили на бастионы воду, снаряды и подбирали раненых. С последними они обращались с большим состраданием: бережно клали на носилки, помогали им повернуться как удобнее, поили водой и несли осторожно, чтобы сотрясением не вызывало страданий. Арестанты отличались особенною предупредительностью ко всем вообще нижним чинам, они угощали их водкою, приносили закуску, отдавали последнюю копейку».

После первого бомбардирования одна артиллерийская батарея была поставлена в Севастополе.

По словам одного из служивших на батарее, «погода в то время стояла скверная; моросил непрерывный дождь, сопровождаемый холодным ветром, пронизывающим до костей. Местность обратилась в грязь;

негде было спрятаться от дождя. Видя, что солдаты валялись под дождем, ничем не прикрытые, арестанты принесли на батарею несколько лодок, лежавших на берегу бухты, укладывали солдат и покрывали их лодками. Таким образом наши солдаты, защищенные от дождя, могли спать эту ночь».

А арестанты, разумеется, мокли и не догадывались, какими истинно добрыми людьми были эти «отверженные».

И большая часть их была убита в Севастополе.

К часу дня бомбардирование стало еще ужаснее, когда англо-французский флот подошел на близкое расстояние и стал громить прибрежные батареи и город.

Один из бойцов на прибрежной батарее пишет:

«Воздух, пропитанный исключительно дымом, не совмещал уже в себе звуков. Хотя одновременно стреляли около тысячи пятисот орудий, но звук их не был громоподобен – он превратился в глухой рокот, как бы в клокотание, покрываемое свистом и визгом снарядов, в несчетном множестве проносившихся над нами. Только рев собственного орудия при выстреле резко отделялся в этом море несвязных звуков и царил над нами до своего повторения».

II

При первых же выстрелах Корнилов и Нахимов поскакали на оборонительную линию.

Нахимов сам распоряжался стрельбой на пятом бастионе и, по обыкновению, был в эполетах. По обыкновению, он не обращал внимания на опасность. А на бастионах было очень жутко. Достаточно сказать, что в этот день на одном бастионе три раза переменили прислугу у орудий.

В начале бомбардировки Нахимов был слегка ранен в голову, и, когда один офицер заметил, что адмирал ранен, Нахимов сердито ответил:

– Неправда-с!

И, потрогав рукой окровавленный лоб, прибавил:

– Слишком мало-с, чтобы об этом заботиться. Слишком мало-с!

Скоро на пятый бастион приехал и Корнилов, объезжавший всю оборонительную линию.

Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов долго следил вместе с ним за тем разрушением, которое производили снаряды в неприятельских укреплениях. Оба они стояли открыто под самым сильным огнем союзников; ядра свистели около, обдавая их землею и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, пора-

жая своими осколками прислугу у орудий.

«Трудно себе представить, – говорит автор цитируемой мною книги, – что-либо ужаснее этой борьбы. Гром выстрелов слился в один гул над головами сражающихся. Тысячи снарядов бороздили укрепления и разносили смерть и увечья повсюду».

Нет сомнения, что оба адмирала понимали неудобство этого разговора под ядрами и не сомневались, что их храбрость известна всем и что сохранение жизни важно для самого дела. Но они хотели показать пример бесстрашия всем.

Напрасно адъютант старался увести Корнилова с бастиона, докладывая, что присутствие его доказывает недоверие к подчиненным, и уверял, что каждый исполняет свой долг.

– А зачем же вы хотите мешать мне исполнять мой долг? Мой долг видеть всех! – отвечал Корнилов.

И поехал на шестой бастион.

Он вернулся в город и вскоре снова поехал на бастионы. Адмирал опять был на четвертом и третьем бастионе и приехал на Малахов курган.

Корнилов хотел было взойти на верхнюю площадку каменной башни, которая особенно заботила англичан, и их батареи старались ее разрушить. Снаряды ложились около башни, и остаться около нее было крайне опасно.

Вот почему начальник дистанции контр-адмирал Истомин [32] решительно не пустил на площадку своего начальника и сказал, что там никого нет. И адъютант Корнилова снова просил адмирала вернуться домой.

– Постойте, мы поедем еще к полкам, а потом домой.

Он постоял несколько минут и в половине двенадцатого сказал:

– Теперь поедем!

Но не успел сделать трех шагов, как ядро оторвало ему левую ногу у самого живота.

Адмирал упал. Его подняли, перенесли за насыпь и положили между орудиями.

– Ну, господа, предоставляю вам отстаивать Севастополь. Не отдавайте его! – сказал Корнилов окружавшим и скоро потерял память, не проронив ни одного стона.

Он пришел в себя только на перевязочном пункте.

Заметив, что его хотят переложить на носилки, но затрудняются, чтобы не повредить рану, Корнилов сам через раздробленную ногу перекатился в носилки, и его отнесли в госпиталь.

Врачи не сомневались, что смерть близка.

---

[32] Истомин Владимир Иванович (1809-1855) – русский адмирал, один из героев Севастопольской обороны. Погиб в Севастополе 7 марта 1855 г.

Чувствовал и Корнилов ее приближение и ждал этой минуты со спокойствием.

– Скажите всем, – говорил он окружающим, – как приятно умирать, когда совесть спокойна.

И скоро в беспамятстве умер.

«После него у нас не оказалось ни одного человека в уровень с событиями того времени», – пишет один из участников.

И многие записки и словесные отзывы севастопольцев единогласно говорят, что «Корнилов был единственный человек, который мог бы дать совершенно иной исход крымским событиям: так много выказал в эти немногие дни ума, способности, энергии и влияния на своеобразного князя Меншикова».

III

В это туманное раннее утро пятого октября Маркушка с Бугаем пришли на пристань к своему ялику. Улицы были полны солдатами, шедшими к оборонительной линии. Скакали верховые офицеры и казаки. Встречались бегущие мужчины и женщины с пожитками, направляющиеся к пристаням… В тумане все казались какими-то силуэтами, внезапно скрывающимися…

Маркушка чувствовал что-то жуткое на душе. Бугай уже сказал ему, что сегодня ждут «бондировки» и, пожалуй, он пойдет на штурм.

– Большая будет драка, Маркушка! – прибавил Бугай.

– А мы перевозить людей будем, дяденька? – спросил, видимо недовольный, Маркушка.

– Всякий при своем деле. И яличники требуются. А ты, умник, думаешь, нужны мы, старый да малый, на баксионе? Вовсе пока не нужны. А понадобится – пойду…

– И я с вами, дяденька!

– Не егози, Маркушка!

Ялик возвращался с первого рейса, когда вдруг зарокотала бомбардировка.

Казалось, сразу все изменилось вокруг. И город, и бухта, и небо. С каждой минутой гром становился сильней и беспрерывней. Черные шарики летали в воздухе с обеих сторон со свистом и каким-то шипением, и над городом повисла туча дыма.

И невольный ужас охватил мальчика. И ужас, и в то же время какое-то любопытное и задорное чувство, которое влекло Маркушку туда, где, казалось ему, и он что-нибудь да сделает в отместку этим «дьяволам», пришедшим в Севастополь.

Но в эти первые минуты страх пересиливал другие чувства.

И мальчик, широко раскрыв глаза, слушал грохот и взглядывал на старого яличника, словно бы удостоверяясь, что «дяденька» здесь, около.

Бугай был спокоен и проникновенно серьезен.

Он перестал грести, снял свою обмызганную шапку, поднялся и, глядя на город, медленно и истово перекрестился и горячо промолвил:

– Помоги нашим, господи!

И еще тише прибавил, принимаясь за весла:

– Много пропадет нынче народу!

– Дяденька! – окликнул Маркушка.

– Ну?

– Вы говорите, много пропадет от этих самых? – спросил он, указывая вздрагивающей рукой на летя-

щие снаряды.

– Много… И от ядер и от бомб… Разорвет, осколки разлетятся и… смерть… либо ногу или руку оторвет…

Маркушка примолк и слушал. И впечатлительному мальчику представлялось, что каждый этот шарик убивает людей и среди адского грохота падают окровавленные люди.

«Много пропадет народа!» – мысленно повторил Маркушка слова старого матроса.

И, охваченный вдруг миролюбивым чувством, он спросил:

– И зачем, дяденька, убивают друг друга?

– Война.

– А зачем война?

– А зачем ты дерешься с мальчишками?.. Значит, расстройка… Так, братец ты мой, расстройка и между императорами. Наш один против императора, султана и королевны…

– Нашего, значит, зацепили?..

– Из-за турки… Обидно, что Нахимов под Синопом турку ожег… И пошла расстройка… Ну и французского императора наш государь оконфузил… Опять он в амбицию…

– А как оконфузил?

– Очень просто. Французский император не из настоящих… А так, из бродяг… Однако как-никак, а по-

требовал, чтобы все ему оказали уважение… И все уважили… Стали называть, по положению, братцем… А наш Николай Павлович император не согласился. «Какой, говорит, мне братец из бродяг»… И назвал его для форменности, чтобы не связываться, другом… Понял, Маркушка?

– Понял…

– Вот и дошло до войны… Французский император подбил аглицкую королеву, и пишут нашему: «Не тронь турку». А наш ответил вроде как: «Выкуси, а я не согласен!» – Ну, разумеется, надеялся на свою армию и флот! – прибавил Бугай.

– А у его, дьяволов, стуцер, дяденька!

– Что ж, по правде говоря, и флот с машинами. Эка он палит!! – вдруг оборвал Бугай.

На пристани стояла встревоженная толпа. Преимущественно были женщины с детьми и с пожитками. Среди мужчин – большей частью хилые, больные и старики. Все торопились переезжать на Северную сторону.

Все суетились, и в толпе раздавались восклицания:

– Голубушки… И в слободку он жарит… И несколько хат разметало…

– В улицах ядра и бомбы… Солдат так и бьют… И двух матросок убило. Показались матроски на Театральной улице… И наповал…

– Ребенка убили… Махонький… В кусочки!..

– Не приведи, господи… Ад кромешный!..

– Нашим матросам-то как на баксионах!.. Голубчики!..

– Сказывают, будет штурма…

– Пропали наши домишки… Разорил нас он.

– А Менщик не показывается…

– Корнилов и Нахимов там… Подбадривают!..

– О господи!..

– А дурачок Костя… не боится. Пошел на баксион… Бормочет себе под нос…

– Дедушка, родненький! Возьми и меня! – крикнула одна девочка, подбегая к Бугаю.

– Садись, девочка, около меня. А ты чья? – спросил Бугай, отваливая от пристани.

Худенькая черноглазая девочка заплакала и сквозь слезы отвечала:

– Сирота! Матросская дочь.

– У кого жила?

– У тетеньки. А тетенька ушла… А меня оставила…

– К кому же ты?

– Ни к кому, дедушка… Никого у меня нет.

– Ишь ты!

Но тут же на шлюпке нашлась добрая женщина, которая обещала приютить девочку в Симферополе.

А Бугай дал девочке две серебряные монеты и лас-

ково сказал:

– Пригодится, девочка!

После нескольких рейсов пассажиров уже не было. Бугай с Маркушкой закусили, и лодочник заснул в шлюпке, не обращая внимания на адский рокот.

Привык к нему и Маркушка, и он уже не приводил его в ужас.

Не ужасали его и носилки с мертвыми телами, которые, как груз, складывали на баркас на Графской пристани… И как много этих мертвецов, окровавленных и изуродованных, с черными от пороха лицами, с закрытыми глазами, в ситцевых и холщовых рубахах и исподнях. Почти на всех покойниках не было шинелей, мундиров и сапог.

Маркушка заглядывал в носилки, заглядывал в баркас и невольно искал отца.

И он спросил одного солдата-носильщика:

– Ткаченко, комендор на четвертом баксионе, жив?

– Не знаю, малец… Слышно, там сильно бьют… Оттуда к Корабельной бухте выносят… А мы солдатиков носим… Коих на улице убило.

Маркушка вернулся к ялику.

По-прежнему кругом грохотало. А Бугай спал.

Мальчик опять отошел от ялика и вышел на улицу.

У пристани и Морского клуба сидели солдаты, поставив ружья в козлы. Офицеры курили и о чем-то

болтали. Здесь не было видно ни ядер, ни бомб.

Маркушке очень хотелось вблизи увидать их.

Он пробежал между солдатами, добежал до собора… Опять ни ядра, ни бомбы… И он побежал дальше…

Мимо то и дело проносились носилки, перед которыми солдаты расступались и крестились…

Несмолкаемый рокот казался оглушительней. Но Маркушка не обращал на него внимания и побежал по Большой улице…

И вдруг остановился… Он услышал совсем близко резкий свист; несколько ядер шлепались о мостовую. И вслед за тем шипение… Что-то упало, казалось, рядом, что-то вертелось и горело…

– Падай, чертенок!.. – раздался чей-то повелительный голос.

И вслед за тем чьи то руки схватили мальчика за шиворот и пригнули к земле.

В ту же минуту раздался треск, и Маркушка увидал, как осколки разлетелись среди солдат, и раздались стоны.

Маркушка поднялся. Около него стоял моряк – штаб-офицер в солдатской шинели.

– Ты зачем здесь? – сердито спросил моряк.

– Поглядеть.

– На что?

– На ядра…

– Глупый. Хочешь быть убитым? Пошел назад. Брысь! – крикнул моряк.

Маркушка не заставил повторять и побежал со всех ног.

А моряк, улыбнувшись, проводил глазами Маркушку и пошел к оборонительной линии, то и дело прислушиваясь к свисту ядер и невольно наклоняя голову.

У дома главного командира проносили носилки. Маркушка заглянул и увидел знакомого мичмана Михайла Михайловича. Бледный, он слегка стонал.

– Михайла Михайлыч! – воскликнул Маркушка.

– Маркушка! – ласково сказал раненый мичман. – И не смей проситься на бастион… Вот видишь, как там… Понесли меня…

– Поправитесь, Михайла Михайлыч!

– Надеюсь… Легко ранен…

– А тятька, Ткаченко… жив?

– Жив был…

Маркушка проводил несколько минут раненого и, простившись, побежал на пристань.

По дороге он услышал, что убит Корнилов, и принес это известие Бугаю.

Бугай нахмурился, перекрестился и проговорил:

– Другого такого не найдем!.. А ты куда бегал?

Маркушка рассказал, и старый яличник сердито

сказал:

– Ой, накладу тебе в кису, если пойдешь… смотреть бомбы!.. Раскровяню твою харю!

К вечеру все стихло. Рокот прекратился. Люди облегченно вздохнули и дышали вечерней прохладой.

Вечер был прелестный. На небе занялись звезды, и море так ласково шептало.

И только огненные хвосты ракет, по временам горевшие в темном небе, да шипение бомб говорили, что смерть еще витает над городом.

Но скоро смолкли и английские батареи.

Маркушка и Бугай пошли домой. Но дома уж не было. Хибарка, в которой они жили, представляла собой развалины, и приятели нашли на ночь приют в одном из целых домиков слободки и решили на другой день перебраться вниз.

«А на баксион к тятьке все-таки сбегаю!» – подумал Маркушка перед тем что заснул.

На следующее утро грохот пальбы разбудил Маркушку.

– Ишь черти! Опять бондировка! – промолвил мальчик, поднимаясь с соломенной подстилки на полу.

ГЛАВА VI

I

После первого ужасного бомбардирования защитники всю ночь исправляли повреждения бастионов и батарей.

Некоторые сильно пострадали. Особенно – третий бастион, почти сравненный с землей.

На нем три раза была переменена орудийная прислуга, убитая или раненая. Ничем не прикрытые, под градом ядер, бомб и гранат, матросы продолжали стрелять по неприятельским батареям, как вдруг неприятельская бомба пробила пороховой погреб и страшный взрыв поднял на воздух часть третьего бастиона и свалил его в ров вместе с орудиями и матросами-артиллеристами.

«Бастион буквально обратился в груду земли; из числа двадцати двух орудий осталось неподбитыми только два, но и при них было лишь пять человек».

Почти все офицеры были убиты или ранены. Сто матросов погибли при взрыве.

Обезображенные и обгорелые трупы их валялись во рву и между орудиями: там груда рук, тут одни го-

ловы без туловища, а вдали, среди грохота выстрелов, слышались крики торжествующего врага. Бастион представлял картину полного разрушения, и в течение нескольких минут не мог производить выстрелов из своих двух орудий.

Казалось, исчезла уже «всякая возможность противодействовать артиллерии неприятеля. Оборона на этом пункте была совершенно уничтожена, и на Корабельной стороне (где находился третий бастион) ожидали, что неприятель, пользуясь достигнутым им результатом, немедленно пойдет на штурм», – пишет автор «Истории обороны Севастополя».

Но офицеры и матросы сорок первого экипажа, стоявшего близ бастиона, бросились на помощь третьему бастиону. Скоро загремели выстрелы из двух орудий и на соседней батарее, чтобы отвлечь внимание неприятеля от третьего бастиона, стали кричать «ура» и открыли частый огонь против чужих батарей.

За ночь надо было восстановить третий бастион и исправить другие. Пришлось насыпать брустверы и очищать рвы, устраивать траншеи, заменить подбитые орудия.

К утру все бастионы были готовы.

Севастополь после вчерашней бомбардировки, казалось, стал еще грознее, и союзники увидали, что взять Севастополь не так легко, как казалось. Его

укрепления словно бы снова вырастали. Поднимался и дух защитников после ужасной бомбардировки, не сгубившей Севастополя.

Нахимов, посетивший на другой день прибрежную батарею No 10, отбивавшуюся от орудий целого флота, за потерю которой опасались тем более, что она могла быть сбита и занята десантом, – Нахимов приказал собрать матросов и сказал:

– Вы защищались, как герои, – вами гордится, вам завидует Севастополь. Благодарю вас. Если мы будем действовать таким образом, то непременно победим неприятеля. Благодарю, от всей души благодарю!

«Крепость, – доносил князь Меншиков, – которая выдержала такую страшную бомбардировку и успела потом в одну ночь исправить повреждения и заменить все подбитые свои орудия, – не может, кажется, не внушить некоторого сомнения в надежде овладеть крепостью дешево и скоро».

II

Это осторожное донесение главнокомандующего, питавшего только «некоторое сомнение» в возможность потерять Севастополь, было, казалось, одним из редких обнадеживающих донесений императору Николаю Первому и своих не мрачных взглядов на положение Севастополя.

Сам главнокомандующий, один из любимейших императором деятелей того времени, сам признавал то, что казалось невероятным. Начальники, офицеры и даже сами войска, – словом, все то, что считалось нашей гордостью и главным козырем, поддерживающим могущество России и внушающим страх Европе, – все это, по мнению князя Меншикова, бесспорно умного человека, – было самоуверенное заблуждение.

Князь не раз предупреждал еще до объявления войны, что необходимо более войск, чем у него есть: «Небо помогает большим войскам», – острил он и прибавлял, что необходимо укрепить Севастополь с Южной стороны. Но его донесения вначале не исполнялись, и десант большой союзной армии застал нас врасплох не по вине одного Меншикова.

И затем он уже не раз жаловался и государю, и министру, и князю М.Д.Горчакову о недостатке способ-

ных генералов и особенно офицеров. Корпусные командиры не внушали доверия князю. «Это будет истинное несчастие, если б генерал Д. стал во главе армии», – говорил Меншиков об одном корпусном командире.

Генерала Липранди [33] главнокомандующий считал «хитрым и двуличным», а про офицеров генерального штаба писал: «Все находящиеся у меня, за исключением одного или двух, полнейшая ничтожность, в том числе и N, неспособность которого ниже всякой критики».

Понимал, казалось, общее заблуждение насчет нашей военной мощи не один только скептик и недоверчивый князь.

Даже князь Горчаков, главнокомандующий дунайской армией и сочинивший песенку, в которой даже англичане и французы названы «басурманами» и которую распевали наши солдаты [34], в то же время, посылая войска и генералов из дунайской армии в подкрепление разбитой уже под Альмой армии Меншико-

---

[33] Липранди Павел Петрович (1796-1864) – русский генерал. В Крымскую войну отличился в сражении при Балаклаве: благодаря предложенному им плану понесла серьезный урон английская кавалерия.

[34] Жизни тот один достоин,Кто на смерть всегда готов,Православный русский воин,Не считая, бьет врагов.Что французы, англичане?Что турецкий глупый строй?Выходите, басурмане,Вызываем вас на бой!Вызываем вас на бой!(Примеч. автора.)

ва, писал ему не всегда утешительные сведения.

«Что же касается до генерала NN, то его я не знаю, но говорят, что он бестолков. Чтобы сколько-нибудь вознаградить за его глупость, я ему придал генерального штаба подполковника, одного из лучших моих офицеров» [35].

Затем князь Горчаков писал князю Меншикову о том же генерале: «Позвольте вам напомнить, что NN большой дурак (est un grand bete) и что совершенно необходимо ему запретить атаковать неприятеля. Вся его обязанность заключается в ведении малой войны, потому что иначе он настолько глупо атакует укрепления, что без сомнения будет во вред его дивизии и покроет его стыдом». В другом письме князь Горчаков пишет: «Наши кавалерийские офицеры вообще ничего не разумеют в такой войне». А о посылаемых войсках сообщает: «Войска, вам посылаемые, хороши, но вы не поддадитесь на их хвастовство. Они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся как сумасшедшие и будут выведены из строя, а войско покажет тыл. Говорю по опыту».

---

[35] «История обороны Севастополя». (Примеч. автора.)

Свалил потерю Альминского сражения «на малодушие и неопытность» солдат и Меншиков, а между тем мнение о наших солдатах двух главнокомандующих совсем не согласно с тем, что говорили о солдатах знаменитые полководцы – наши и иностранные – и что показывали большая часть войн и осада Севастополя.

Впрочем, и князь Меншиков, понявший в Севастополе многие наши заблуждения насчет многого, казалось, понял, что и сам он, на которого было возложено такое трудное дело, – тоже одно из заблуждений – считать его даровитым и энергичным полководцем.

И мрачный, одинокий, недоверчивый, не сообщавший никому своих планов, вдобавок больной и знающий, как нелюбим он в войсках и во флоте, – он не верил в дело, которому служил, и скоро уж доносил государю, что едва ли Севастополь долго продержится и не лучше ли сжечь его и вывести армию.

Меншиков жил на Северной стороне, в скромном помещении, устроенном в форте. Он почти не показывался на оборонительную линию, не показывался и войскам, и, видимо удрученный тяжелыми думами, хотя и работал не покладая рук, но видел и чувствовал, что не может поправить дела – не может выгнать неприятеля. Он не скрывал от себя, что дороги ужасны, что продовольствие войск отвратительно, злоупо-

требления неисчислимы, раненые и больные мрут как мухи без призора, подвоз пороха и снарядов затруднителен. Броситься же на «авось» с армией на неприятельскую – для этого князь Меншиков был слишком умен и недостаточно беззаветен и пылок, чтоб рисковать всей армией и, в случае поражения, отдать неприятелю весь Крым.

И, несмотря на понукания из Петербурга на решительные действия, Меншиков имел храбрость не соглашаться с советами самого государя и медлил, ожидая новых подкреплений.

«Я настаиваю в Петербурге, – пророчески писал он тому же главнокомандующему дунайской армии, князю Горчакову, еще до высадки, – на необходимости подкрепления потому, что если наши морские силы будут уничтожены, то в течение двадцати лет мы будем лишены всякого влияния на Востоке, так как все доступы к нему как морем, так через княжества, будут для нас недосягаемы».

Но подкреплений не посылалось. В Петербурге надеялись, что и с маленькой армией Меншиков не пустит врага. И только когда наша армия была разбита и Севастополь оставался почти в беззащитном положении, тогда только стали посылать подкрепления, и то по небольшим частям и в общем в недостаточном количестве.

«Ни генералов, ни офицеров», – писал он. «Рекогносцировка, сделанная по моему приказанию, не имела никаких других последствий, как обнаружение неспособности полковых и бригадного командиров», – сообщал Меншиков Корнилову.

«К довершению хлопот, – жаловался Меншиков в письме к князю Горчакову, – не могу достигнуть правильного устройства провиантских транспортов. Три транспорта оказались попорченными и сгнившими до того, что даже при недобросовестной сортировке их нельзя употреблять в пищу. Плут Сервирог заставил принять этот транспорт, задержав с намерением остальные. К тому же дурные дороги и без того их задерживают. Так мы живем изо дня в день – к крайнему моему огорчению и заботам. Торопить присылкою провианта положительно некого. Я писал в Петербург о присылке интенданта, но когда он будет прислан и какой-то еще будет!»

Во многих письмах Меншиков писал:

«Я изнемогаю от усталости и забот и не вижу выхода из своего положения. Утешительного ничего, а зато сплетен – гибель».

Несомненно умный человек, он понимал, что нужен гений военачальника и организатора, чтобы при таких беспорядках, какие обнаружило наше бессилие, несмотря на самоуверенность в свою силу и веру в

безукоризненный порядок в военном управлении, возможно было надеяться на успех.

И Меншиков, казалось, не имел никакой надежды и не скрывал этого от императора. Он ждал скорой потери Севастополя.

В Петербурге, где не обращали внимания на просьбы Меншикова о серьезной защите Крыма, после поражения нашего под Альмой боялись потери всего Крыма.

Только бездарность полководцев союзников и воистину необыкновенная выносливость и мужество солдата и матроса, которые одиннадцать месяцев защищали Севастополь, несколько ободрили нас и спасли от несравненно тяжелых условий мира.

В каких условиях жили защитники поздней осенью и зимой, читатель может понять хотя бы из следующих строк, которые я беру из «Истории Севастопольской обороны».

«Защитники Севастополя положительно валялись в грязи, на открытом воздухе, в дождь и в бурю, в мороз и метель. Единственною защитою их от холодных ветров были сложенные насухо из камней стенки, ямы или рвы, кое-как прикрытые сверху. Командиры бастионов помещались в землянках столь малых, что едва можно было вытянуться во весь рост человека. Если на батарее бывала еще одна такая землян-

ка для нескольких офицеров, то такая батарея считалась с роскошным помещением. Никто не мог раздеться. Ноги прели, потому что по месяцу и более никто не снимал сапогов. Иной пробовал прилечь на голой земле, но холод и сырость гнали его прочь. Хорошо, кому удавалось пристроиться под навесом насыпи или прислониться к станку, на котором лежало орудие, – положению такого счастливца все завидовали».

Но солдатам едва ли было лучше.

«Находившиеся на укреплениях войска не имели ни крова, ни теплой одежды. С самого начала осады солдаты принуждены были сами изобретать средства для защиты от дождя и стужи. В то время солдаты не имели еще полушубков [36] и довольствовались мундиром и шинелью. В дождливую погоду они мастерили себе такие башлыки из рогожи, смотря на которые дивовались и свои и французы. Рогожи эти выдавались для того, чтобы солдаты подстилали под себя в землянках или сараях, где им случалось ночевать. Обыкновенно один куль выдавался на двоих: его резали вдоль на две части, так что каждому доставалось по готовому, сшитому углу. Отправляясь в цепь или на часы, солдат захватывал с собою принадлежащую

[36] Посылавшиеся часто не доставлялись и где-нибудь на пути сгнивали. (Примеч. автора.)

ему половину куля. Надев его на голову, он защищал себя от дождя и непогоды».

«Жизнь, которую не выносит ни один каторжник, была обыкновенною жизнью каждого из защитников», – прибавляет историк.

Сильное бомбардирование продолжалось несколько дней подряд и затем продолжалось ежедневно, но несколько легче и не общим, а имеющим целью разрушить укрепления в некоторых пунктах обороны.

Тем временем траншеи и укрепления подвигались ближе и ближе, и, несмотря на мужество защитников, главнокомандующий был безнадежен и мрачен.

Но в нем не было доблести сознать свою неумелость и просить о назначении другого главнокомандующего. Только через несколько месяцев после новых поражений в сражениях, когда и в Петербурге увидали военную бездарность князя и решили сменить его, Меншиков решительно просил об увольнении и бросил армию до приезда нового главнокомандующего, князя Горчакова.

Ничего не мог сделать и новый главнокомандующий, сам настаивавший в Петербурге на смене Меншикова.

III

Он сваливал всю вину на Меншикова, и сражение, которое Горчаков дал союзникам, вынужденный Петербургом, показало то же, что и во время начальства Меншикова. Наши солдаты дрались как львы, но были разбиты и потеряли около семи тысяч. Оказалось, что снова не было точности и ясности в распоряжениях полководца: один генерал начал, не понявши слова «начать», присланного главнокомандующим через адъютанта; другой генерал, видя, что рядом бьют своих, не подал им помощи, потому что не было приказания, – словом, снова вышла путаница и бестолочь.

Историк, хоть и не считает князя Горчакова таким плохим военачальником, как Меншиков, дает о нем такую характеристику: «Как главнокомандующий он не вполне удовлетворял тому высокому званию, в которое был облечен. Военная искра, находчивость, смелость и быстрота соображения не составляли принадлежности князя Горчакова. Напротив, он был человек крайне рассеянный и в высшей степени нерешительный. По своей нерешительности он упускал иногда удобный случай для действия, часто менял приказания, а по рассеянности нередко даже и противоречил себе».

И князь Горчаков через восемь недель после приезда в Севастополь уже говорил, что «со времен Петра Великого под Прутом [37] ни одна армия не находилась в столь дурном положении, в каком нахожусь я в настоящее время». Хотя новый главнокомандующий имел в своем распоряжении несравненно более войска, чем имел Меншиков, тем не менее считал свое положение безысходным и просил императора Александра Второго об оставлении Севастополя до штурма. И если потом оставил эту мысль и даже мечтал о возможности решительных действий, то обязан был влиянию присланного из Петербурга генерал-адъютанта Вревского [38].

Рассказывая о недостатке генералов и офицеров и о том, что многие генералы выбыли из строя по болезни, князь Горчаков «с грустью должен был заявить военному министру, что на самом деле не болезнь, а другие причины заставили некоторых уклоняться от исполнения своих обязанностей; что пароксизм болезни у таких лиц обыкновенно наступал только то-

---

[37] …со времен Петра Великого под Прутом… – В 1711 г., во время русско-турецкой войны, Петр I (1672-1725) совершил в очень тяжелых условиях знаменитый Прутский поход.

[38] Вревский Павел Александрович (1808-1855) – генерал-адъютант, был прикомандирован к Горчакову с целью вынудить последнего дать решительный бой противнику, каким и явилось сражение на Черной речке 4 августа 1855 г.

гда, когда они получали неудобное для них назначение. Называя по именам тех генералов, в болезни которых он сомневался, князь Горчаков писал, что генерал Хрущев [39] действительно болен, а между тем не желает оставить ряды армии». Одним словом, Горчаков только подтверждал мнение предшественника, которого считал виновником своего безвыходного положения.

Разумеется, не один Хрущев был такой. История Севастополя показывает многих генералов (Семякин [40], Хрулев [41] и другие), которые не «болели» кстати, когда солдаты и матросы умирали.

Нечего уже говорить о таком боготворимом матросами и солдатами Нахимове, именно за то, что он был там, где были и они, всегда простой, доступный, скромный и истинно храбрый, без тени рисовки.

И когда один севастополец при встрече с доблестным адмиралом сказал, что он напрасно не бережет себя, и прибавил: «что будет с Севастополем, если его не будет», – Нахимов сердито нахмурился и ответил:

---

[39] Хрущев Александр Петрович (1806-1875) – генерал-адъютант, герой Севастопольской обороны.

[40] Семякин Константин Романович (1802-1867) – генерал, герой Севастопольской обороны.

[41] Хрулев Степан Александрович (1807-1870) – генерал, один из героев обороны Севастополя.

– Не то вы говорите-с! Убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с! А вот если израсходуют князя Васильчикова [42] или Тотлебена, это беда-с!

А адмирал Истомин, убитый на Малаховом кургане, в ответ на опасения подчиненных обыкновенно говорил:

– Я давно уже в расходе и живу пока на счет французов и англичан!

[42] Начальник штаба севастопольского гарнизона. (Примеч. автора.)

ГЛАВА VII

I

Рано утром, через три дня после первой ужасной общей бомбардировки, как и в предыдущие дни, загрохотали орудия. Но стреляли сразу не все неприятельские батареи, и наши отвечали только из тех бастионов, на которые был направлен огонь неприятеля.

Старик Бугай, только что молча окончивший пить чай в подвале одного из домов внизу, около рынка, на берегу Артиллерийской бухты, вдруг неожиданно сердито произнес, обращаясь к Маркушке:

– А ты как думал, Маркушка?

И, не ожидая ответа, прибавил:

– Небось слышишь, чертенок?

– Слышу, дяденька. Бондировка!

– То-то и есть! – несколько остывая, промолвил Бугай. – Здесь внизу что, пока нам слава богу… И выспались на новоселье… И чаю попили. Сюда еще не дохватывают… А напредки что будет… Выкуси-ка!

– Прогоним дьяволов – вот что будет.

– Не бреши, Маркушка. Не форси по своему рас-

судку. За форц знаешь ли что? Учат!.. И тебя следовало бы съездить по уху… Не хвастай!.. Он, братец ты мой, свою линию, шельма, ведет…

– Какую, дяденька? – нетерпеливо спросил Маркушка, уверенный, что Бугай не съездит по уху, а только пугает.

– Прежде проворонил штурму, не посмели их начальники, когда Менщик пропадал, и мы одни пропали бы… Понял, что обмишурился… Так теперь думает обескуражить нас бондировкой, разорить наши баксионы и на штурму… Но только еще погодить надо… Прежде вовсе разори, да и перебей людей, тогда и бери Севастополь, ежели Менщик не войдет в полный свой ум… Сказывали: лукав. А где же твое лукавство, скажи на милость? – спросил Бугай, словно бы обращаясь к самому главнокомандующему.

И так как главнокомандующий не мог ответить старому отставному матросу, то он сам же за него ответил:

– Вы, мол, братцы, пропадай на баксионах с Павлом Степанычем [43], а я не согласен пропадать. Сижу себе на Северной, на хорошем харче, пью вино шипучее за обедом по старости лет. А к французу с солдатиками не сунусь. А вы, севастопольцы, как вгодно… Отбивайтесь и помирайте!..

---

[43] Нахимов. (Примеч. автора.)

– А отчего, дяденька, Менщик не сунется? – спросил опять Маркушка.

– Оттого, дьяволенок. Чего пристал?! – сердито окрикнул Бугай и даже взглянул в упор на мальчика строгими глазами, казавшимися совсем суровыми от нахмуренных клочковатых бровей, – точно именно Маркушка и виноват в том, что Меншиков, по мнению Бугая, не обнаруживает никакого лукавства и не желает «сунуться» к «французу».

– Валим на ялик… Небось как огрел его француз под Альмой, так никакой смелости в нем нет. Вовсе обескураженный… Видел вчера Менщика, когда садился в катер?.. Будь заместо его покойный Корнилов или Нахимов, совсем другой вышел бы военный оборот. Небось не оконфузили бы себя и солдатика… Валим на ялик, Маркушка!

– Дозвольте, дяденька, прежде на баксион сбегать… тятьку проведать… Еще жив ли?

– Я тебе дозволю… Не форси, говорят!.. На ялик! – грозно крикнул Бугай и погрозил кулаком.

И уж дорогой Бугай, видимо не сердитый, проговорил:

– Вечером сходим… Отчего не проведать. А зря лезть на убой – один форц. Живи, пока бог тебя терпит! Вырастешь, поймешь Бугая…

II

Молодой, совсем бледный офицер в солдатской шинели, поддерживаемый статским господином, сел в ялик. Солдатик-денщик уложил два чемоданчика, господский мешок и – поменьше – свой и сел на носу ялика.

– На северную! – нетерпеливо и взволнованно проговорил офицер задыхаясь.

– Не волнуйся, Витя! Не говори громко. Тебе вредно, голубчик. Что говорил старший врач?

И хоть статский, совсем юноша, походивший на офицера и, по-видимому, брат, и старался казаться молодцом и подбадривать брата, но голос его был встревоженный и испуганный, и мягкие лучистые глаза светились грустью.

Ничего молодеческого не было в этом здоровом, дышавшем свежестью лице и в крепкой, сильной фигуре.

Напротив, в юноше было что-то мешковатое и необыкновенно милое, доброе и тоскливое.

Как только ялик отвалил, офицер встрепенулся, как птица, выпущенная из клетки. К бледному, почти мертвенному лицу с красивыми заострившимися чертами и ввалившимися глазами, большими и лихорадочно

блестевшими, прилила кровь.

Не без усилия поднял он болезненно белую и точно прозрачную исхудалую руку с голубыми жилками и, глядя на Севастополь, крестился.

И, полный благодарного счастья, промолвил:

– О, скорей бы только домой… Дома поправлюсь. Ты увидал бы, брат… Неужели ты нарочно приехал сюда, чтобы поступить в юнкера?

– И тебя повидать… И в юнкера.

– О, не оставайся, Шура… Не оставайся… Но я, офицер, должен был драться… И две пули. Видишь, на что я похож…

– Поправишься, Витя… Не говори.

– Мне лучше… Ничего… Не мешай… Не поступай в юнкера. Умоляю! Ты не знаешь, что за ужас война. Это бойня… Смерть… смерть везде… И ради чего убивать друг друга?.. Довольно с меня… Слава богу, что подальше отсюда… И не вернусь сюда… О, нет… нет… Окончится же война, и я в отставку… Называй меня трусом, Шура… Но я делал то, что и другие… Стоял в прикрытии на четвертом бастионе и смотрел, как люди падали с оторванными головами, без рук… без ног… Стон… крик… Я не прятался… Было жутко, но стыдно перед солдатами, а то бы убежал… А на ночной вылазке… Я и хуже зверя, когда, бросившись в неприятельскую траншею, убил француза… Ведь

он просил не убивать. А я, как опьяненный кровью, еще пырнул штыком в человека, и кровь брызнула… «Бей, руби!» – кричал я… пока не упал, и то думал, что смерть… Вынесли солдаты – вот и этот Прошка, мой денщик… Милый… славный! – говорил офицер, показывая головой на белобрысого солдатика.

А солдатик то поглядывал на воду, то прислушивался к грохотанию бомбардировки. Но дым и бомбы были далеко, и он, видимо, был так же счастлив, как и офицер.

– Не волнуйся, Витя…

– Не оставайся, Шура… Или получить крест хочешь?.. О милый… Когда с вылазки меня перенесли на бастион и я открыл глаза, многие офицеры подходили и говорили, что я молодец… Полковой тоже… Обещал представить к Анне с мечами… А я, как вспомнил вылазку и как убивал, – мне было ужасно стыдно… невыносимо постыдно… И я плакал… плакал – и за себя и за людей… Я ведь не смел думать, что буду таким зверем… И ты, милый, добрый Шура, станешь таким же зверем… Уедем вместе… Подумай… Ты только вчера приехал… Мы не наговорились даже… Как позволил тебе папенька, Шура… И бедная маменька…

Юноша и сам начинал колебаться, а главное, он вспомнил предостережение врача о том, что брат опа-

сен. И раны, и злая лихорадка… То и дело может умереть на дороге…

– Ну, хорошо, Витя. Я отвезу тебя домой…

– И останешься?..

– Поеду, Витя… Потом… позже…

– Я уговорю тебя… Прежде раздумай… Будь на службе – иди, если призовут… это понятно… Убьют или ранят… Чем мы лучше солдат… Ведь наш бригадный называет их пушечным мясом, как и Наполеон их зовет… А ведь Наполеон – гениальный разбойник, вот и все… Я много читал о нем… Он просто… одного себя любил… И знаешь что, Шура?

– Что?

– Будет же время, когда не будет войн… Наверное, не будет! – возбужденно проговорил офицер.

Он утомился, примолк и сконфуженно улыбнулся, взглядывая на яличника словно бы виноватыми глазами и почти испуганный, что вызовет в старом Бугае осуждающий взгляд.

Бугай и Маркушка, жадно слушавшие офицера, были под сильным впечатлением чего-то диковинного и в то же время обаятельного.

Этот офицер возбуждал и жалость и какое-то невольное восхищение и признаниями, и самообвинениями, и доселе неслыханными словами об отвращении к войне, и просьбами брата не идти на войну, и

самым его необыкновенно милым, открытым лицом, над которым, казалось, уже витала смерть, которой он не чувствовал, а напротив, ехал полный надежды и счастья.

И он, и все, что он говорил, дышали искренностью и правдой.

Это-то и почувствовалось старым и малым: Бугаем и Маркушкой.

Старик ни на мгновение не осудил мысленно молодого офицера. Напротив, внутренне просиял и словно бы умилился и смотрел на офицера проникновенным взглядом. В нем было и удивление, и ласка, и жалость.

– А ты отставной матрос? – спросил молодой офицер, успокоенный и обрадованный ласковым взглядом Бугая.

– Точно так, ваше благородие…

После секунды возбужденно прибавил:

– А вы душевно обсказывали, ваше благородие… Лестно слушать, ваше благородие… Не по-божьи люди живут… То-то оно и есть…

Бугай навалился на весла.

– Вот видишь, Шурка, – радостно сказал офицер брату…

И прибавил, обращаясь к Бугаю:

– Это ты отлично… Не по-божьи люди живут…

Нехорошо! О, скоро люди будут жить лучше. Непременно…

Через четверть часа ялик пристал к Северной стороне.

Офицер остался на ялике, а брат его пошел на почту добывать лошадей.

Денщик-солдатик пересел к офицеру.

– А ты, Маркушка, сбегай за свежей водой! Может, барину испить угодно! – сказал Бугай.

– Спасибо, голубчик… А мальчик славный! – промолвил офицер, когда Маркушка побежал.

– То-то башковатый, ваше благородие. Небось поймет, что вы насчет войны обсказывали. А то на баксион просится… Отец матрос у него на четвертом… Мать его недавно умерла… Так сирота со мной… Гоню его в Симферополь… А то того и гляди убьет, а он… не согласен… Ну да я его не пущу на убой, ваше благородие…

– Еще бы…

Бугай несколько времени молчал и наконец таинственно проговорил:

– Вот вы сказывали, что лучше будет жить людям… И прошел слух, будто и у нас насчет простого человека скоро войдут в понятие и пойдет новая линия. И быдто перед самой войной было предсказание императору Николаю Павловичу. Слышали, ваше благоро-

дие?

– Нет. Расскажи, пожалуйста…

И Бугай начал:

– Сказывал мне один человек, ваше благородие, что как только француз пошел на Севастополь, отколе ни возьмись вдруг объявился во дворец старый-престарый и ровно лунь, вроде быдто монаха. И никто его не видал. Ни часовые, ни царские адъютанты, как монах прямо в царский кабинет императора Николая Павловича. «Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвольте слово сказать?» Дозволил. «Говори, мол, свое слово!» А монах лепортует: «Хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполнят по совести и во всем своем повиновении пойдут, куда велит начальство, и будут умирать, но только, говорит, Севастополю не удержаться». – «По какой причине?» – спросил император. «А по той самой причине, ваше величество, что господь очень сердит, что все его, батюшку, забыли…»

– А ведь это правда… Забыли! – перебил офицер.

– И вовсе забыли, ваше благородие! – ответил Бугай.

И продолжал:

– «И для примера извольте припомнить мое слово: француз и гличанин победит. И тогда беспременно объявите свое царское повеление, чтобы солдатам

и матросам была ослабка и чтобы хрестьянам объявить волю, а не то, говорит, вовсе матушка Россия ослабнет, француз и всякий будет иметь над ней одоление». А император, ваше благородие, все слушал, как монах дерзничал, да как крикнул, чтобы монаха допросили, кто он такой есть… Прибежали генералы, а монаха и след простыл… Нет его… Точно скрозь землю провалился…

– Тебе рассказывали, голубчик, вздор… Как мог явиться и пропасть монах? Это сказка… Сказка, которой поверили те, которые ждут и хотят, чтобы сказка была правдой. Но она будет, будет после войны!.. Верь, Бугай!..

Бугай перекрестился.

В эту минуту прибежал Маркушка и принес воду.

Офицер с жадностью выпил воду, поблагодарил Маркушку и, раздумчиво взглядывая на него, вдруг сказал:

– Маркушка! Поезжай со мной в деревню!

– Зачем? – изумленно спросил мальчик.

– Будешь жить у меня… Я буду учить тебя, потом отдам в училище… Тебе будет хорошо. Поедем!

– Что ж, Маркушка… Поблагодари доброго барина и поезжай… Тебе новый оборот жизни будет… А то что здесь околачиваться! – говорил Бугай.

– Еще ни за что убьют! – вставил солдатик.

– Спасибо вам, добрый барин. И дай вам бог здоровья, и всего, всего, что пожелаете! – горячо сказал Маркушка. – Но только я останусь в Севастополе! – решительно и не без горделивости прибавил Маркушка.

– И дурак! – сказал Бугай, а сам, втайне довольный, любовно взглядывал на своего мальчика-приятеля.

– Пусть и дурак, а не поеду. Никуда не поеду. Что ж я так брошу и тятьку и вас, дяденька!.. А вы еще гоните! – обиженно вымолвил мальчик.

Никакие убеждения офицера не подействовали.

Приехала наконец почтовая телега, запряженная тощей тройкой.

Молодой офицер и брат-юноша простились с Бугаем и Маркушкой, оставили ему адрес, чтоб он приехал, если раздумает, и скоро телега поплелась.

Бугай перекрестился и промолвил:

– Живи, голубчик! Спаси его господь!

– Бог даст, выживет! – промолвил Маркушка.

– Ну, валим назад, Маркушка… И какой ты у меня правильный, добрый чертенок! – ласково сказал Бугай. – А вечером проведаем тятьку на баксионе! – прибавил он.

ГЛАВА VIII

I

После жаркого осеннего дня – такие дни в Крыму не редкость – почти без сумерек наступил вечер.

Он был ласково тих и дышал нежной прохладой.

Плавно, медленно и торжественно поднимался по небосклону полный месяц. Красивый, холодный и бесстрастный ко всему, что творится на земле, он обливал ее своим таинственным, серебристым, мягким светом, полный чар.

И недвижные в мертвом штиле рейды и бухты, и белые дома и домишки Севастополя, и притихшие бастионы и батареи, и окрестные возвышенности – словом, все это казалось на лунном свете какой-то волшебной декорацией.

А звезды и звездочки, сверкающие словно бы брильянты, засыпавшие бархатистое темное небо, трепетно и ласково мигали сверху.

– О господи! – невольно вырывался из груди не то восторг, не то вздох.

И люди еще сильнее чувствовали прелесть этого вечера.

Ведь он мог быть каждому и последним!

Но пока вечер свой. Стрельба прекратилась с обеих сторон. Люди устали убивать друг друга и хотели отдыха.

Словно бы утомилась и насытилась за день и сама смерть.

Она притаилась и не показывалась на людях даже редкими светящимися точками бомб, с тихим свистом взлетающих в воздух, чтобы шлепнуться среди людей и разорваться.

Смерть сводила теперь последние счеты не публично.

Она витала в переполненных госпиталях и на перевязочных пунктах, где тяжелораненые и тяжелобольные, уже обреченные, должны были расстаться с жизнью в этот чудный вечер.

И немногие сестры милосердия, эти самоотверженные подвижницы любви к ближнему, в первый раз появившиеся в русских госпиталях, едва успевали, чтоб облегчить последние минуты умирающих, выслушать последние просьбы о поклонах далеким близким и трогательную благодарность за ласковый уход доброй сестры.

Это были первые ласточки милосердия.

И как же полюбили солдаты и матросы этих сестер, бывших для страждущих в полном смысле пе-

стуньями. Они и давали лекарство, перевязывали раны, говорили ободряющие слова, читали книги, писали письма, духовные завещания и умиляли не привыкшего к ласке солдата терпением и кротостью.

– Хоть потолкайся, матушка, около меня, так мне уж будет легче! – говорил один тяжелораненый солдат.

Вот что писал в своем «Историческом обзоре действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» знаменитый хирург Пирогов [44], благодаря энергии которого положение раненых значительно улучшилось со времени его приезда в Севастополь.

«Для всех очевидцев памятно будет, – пишет наш знаменитый хирург, – время, проведенное с двадцать восьмого марта по июнь месяц 1855 года в морском

---

[44] …писал в своем «Историческом обзоре действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» знаменитый хирург Пирогов… – Пирогов Николай Иванович (1810-1881) – великий русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии. Принимал участие в обороне Севастополя, где проявил себя также как отличный организатор; впервые в полевых условиях использовал помощь сестер милосердия.Точное название работы Пирогова, отрывок из которой приведен в тексте, – «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и в Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г.» К. М. Станюкович цитирует ее по книге Дубровина «История Крымской войны и обороны Севастополя». В отличие и от Дубровина и от самого Пирогова, Станюкович «Дворянское собрание» всюду называет «морским собранием».

собрании. Во все это время около входа в собрание, на улице, где так нередко падали ракеты, взрывая землю, и лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат под командою деятельного и распорядительного подпоручика Яни; койки и окровавленные носилки были в готовности принять раненых; в течение девяти дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись к этому входу ряды носильщиков; вопли носимых смешивались с треском бомб; кровавый след указывал дорогу к парадному входу собрания. Эти девять дней огромная танцевальная зала беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались, вместе с носилками, целыми рядами, на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся – громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами; между солдатскими шинелями мелькали везде белые капюшоны сестер, разносивших вино и чай, помогавших при перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев. Двери зала ежеминутно отво-

рялись: вносили и выносили по команде: „на стол“, „на койку“, „в дом Гущина“ [45], «в Инженерный», «в Николаевскую». В боковой, довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах; матрос Пашкевич – живой турникет [46] морского собрания (отличавшийся искусством прижимать артерии при ампутациях) едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одного стола к другому; с неподвижным лицом, молча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собратов. Бакунина [47] постоянно присутствовала в этой комнате, с пучком лигатур [48] в руке, готовая следовать на призыв врачей. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций; возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных. Воздух комнаты,

---

[45] Сюда сносились все безнадежные и тяжелораненые. (Примеч. автора.)

[46] Турникет – инструмент для остановки и предупреждения кровотечений при операциях конечностей.

[47] Бакунина Екатерина Михайловна (1812-1894) – дочь сенатора, в период Севастопольской обороны сестра милосердия, одна из ближайших помощниц Н.И.Пирогова.

[48] Лигатура – нить, которой во время операции перевязывают кровеносные сосуды.

несмотря на беспрестанное проветривание, был наполнен испарениями крови, хлороформа; часто примешивался и запах серы – это значило, что есть раненые, которым врачи присудили сохранить поврежденные члены, и фельдшер Никитин накладывал им гипсовые повязки.

Ночью, при свете стеарина, те же самые кровавые сцены, и нередко еще в больших размерах, представлялись в зале морского собрания. В это тяжкое время без неутомимости врачей, без ревностного содействия сестер, без распорядительности начальников транспортных команд: Яни (определенного к перевязочному пункту начальником штаба гарнизона князем Васильчиковым) и Коперницкого (определенного сюда незабвенным Нахимовым), не было бы никакой возможности подать безотлагательную помощь пострадавшим за отечество. Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь, ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных ко входу собрания и едва прокладывавших себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь, каждый хочет скорого пособия: раненый громко требует перевязки или операции; умирающий – последнего отдыха; все – облегчения страданий».

II

В первый период осады Севастополь еще не представлял собою груды развалин.

Неприятельские укрепления еще не приблизились к нашим, и снаряды не долетали, как позже, во все концы города, и дома, в дальних от оборонительной линии улицах, были обитаемы.

Во многих частных домах были помещены раненые. Большой казенный дом командира порта, с огромным садом, был цел. Еще красовался Петропавловский собор, построенный в древнегреческом стиле, с красивой колоннадой, хотя несколько колонн уже были разбиты бомбами. В казенных и частных домах квартировали адмиралы, генералы, штабные офицеры гарнизона и оставшиеся еще семьи офицеров-моряков. Раненые офицеры-моряки оставались дома, чтоб пользоваться уходом немногих жен или матерей, не покидавших Севастополя и после жестоких бомбардирований.

Не уезжала, конечно, из города и большая часть матросок, торговок и обитательниц слободок. Они только выбрались из них подальше от снарядов и устраивались на новых квартирах, но многие и оставались в своих домишках, скрываясь в погребах днем

и не теряя надежды, что не лишатся своего достояния.

«Прогонят же наконец француза! Получит Менщик подкрепления, пойдет на неприятеля, и город останется цел!»

Оставались в городе и некоторые лавочники, и торговцы, и многий бедный люд, привыкший к насиженному месту. Появились с разных концов и люди, хотевшие воспользоваться случаем скоро нажиться.

И, вдали от бастионов, Севастополь был полон той обычной мирной жизни, которая по временам напоминала прежний оживленный город черноморских моряков.

Рынок по-прежнему был оживлен. Он служил центром всех новостей, слухов, судачения, перебранок торговок, умевших ругаться не хуже боцманов, и критических замечаний отставных старых матросов, не стеснявшихся и бранить и высмеивать Меншикова.

На большой Екатерининской улице по-прежнему многие магазины и лавки не закрывались, и нередко днем, под грохот орудий, женщины заходили в лавки. Приказчики так же клялись, и дамы так же торговались, как прежде, покупая ленточки, прошивки или новую шляпку, чтоб вечером, после бомбардировки, показаться в люди, на Графскую пристань или на бульвар Казарского, наряднее и авантажнее.

Даже на бастионах, где ядра и бомбы чуть ли не ежеминутно приносили увечья и смерть, появлялись и бойкие ярославцы, умевшие «заговаривать зубы» своими веселыми и остроумными присказками, и офени-владимирцы [49], и хохлы, и греки, и евреи – все эти «маркитанты» с жестянками разных закусок, ящиками сигар, табаком, спичками, бутылками вин и даже сластями, раскупаемыми, не торгуясь, офицерами. Появлялись и торговки с рынка с булками, бубликами, колбасой и квасом для продажи солдатам и матросам. Похаживал и сбитенщик, выкрикивая в блиндажах о горячем сбитне. Заходил и старый татарин Ахметка с корзинами, полными винограда. Забегали и храбрые прачки, стиравшие на господ на бастионах.

Все они рисковали жизнью ради хорошей наживы и надежды на бога и на «авось».

Но многие неустрашимые матроски, приносившие на бастионы своим матросам кое-что съестное, булку, выстиранную рубаху и доброе ласковое слово, рисковали жизнью только любви ради.

И напрасно матросы приказывали матроскам не ходить и казались сердитыми, втайне необыкновенно счастливые этими посещениями, – быть может, в по-

---

[49] Офени-владимирцы… – Офеня – в дореволюционной России бродячий торговец. Занимались офенской торговлей преимущественно крестьяне Владимирской губернии.

следний раз.

Эти счастливцы особенно наказывали этим «глупым» с «опаской» возвращаться, под пулями, в город.

Забегали и дети-подростки.

Матросы грозили «форменно проучить» их, если еще осмелятся прийти сюда.

А сами, тронутые своими неустрашимыми детьми, горячо целовали их, словно бы прощаясь навсегда, и удерживали тоскливые слезы, стараясь не показать их своему мальчику, товарищам и начальству.

«И у других останутся сироты. И сколько уж осталось!» – невольно думали защитники на бастионах.

Недаром же матросы говорили в последнее время осады:

– Хоть по три матроса на пушку останется, еще можно драться, а как и по три не останется, ну, тогда шабаш.

А один солдат на вопрос главнокомандующего князя Горчакова, обращенный к солдатам на втором разрушенном бастионе: «Много ли вас здесь на бастионе?» – ответил:

– Дня на три хватит, ваше сиятельство!

И Нахимов, незадолго до своей смертельной раны, однажды сказал начальнику бастиона, доложившему своему адмиралу, что англичане заложили батарею, которая будет поражать его бастион в тыл:

– Что ж такое? Не беспокойтесь… Все мы здесь останемся!

III

В этот прелестный октябрьский вечер рестораны двух лучших гостиниц Севастополя были полны офицерами. Моряки, пришедшие с бастионов, шутя говорили, что отпущены со своих кораблей «на берег» и «на берегу» можно поесть и посидеть по-человечески. Что на своих «кораблях» опасно – не говорили, но зато рассказывалось много о том, на каком бастионе лучше блиндажи и лучше кормят, где удачно стреляли и подбили пушки на неприятельских укреплениях, кто проигрался в карты, кто выиграл прошлую ночь. Ели, пили, шутили. Передавались слухи о том, что Меншиков решился послать большой отряд на рекогносцировку. Генерал Липранди несколько раз ездил к главнокомандующему со своим планом, и на днях будет дело. Конечно, подсмеивались над старым князем, который не показывается с Северной, и войска не знают его в лицо. Анекдотов ходило в то время много и про князя Меншикова, и про генералов, и молодежь смеялась.

Артиллеристы и пехотные офицеры, приехавшие с позиций, сидели отдельными кучками и с невольным уважением посматривали на тех, которые приходили с бастионов. Особенно с третьего и четвертого, на ко-

торых было очень жутко.

И молодой пехотинец, пришедший с оборонительной линии, где стоял полк для прикрытия, не без гордости сказал, что во время бомбардировки много перебило и в полку…

– Несообразителен полковой командир… Оттого и били солдат. Не догадался отвести людей подальше и скрыться в ложбинке… А говорил ему командир бастиона!.. – резко заметил пожилой штаб-офицер, моряк с перевязанной головой, сидевший за бутылкой портера вблизи пехотинцев, среди которых оратор-ствовал молодой прапорщик.

– Позвольте объяснить, что полковому было приказано, где стоять… И он не смел не исполнить приказания! – обиженно заметил прапорщик.

– То-то и дурак! Такого полкового Павел Степаныч Нахимов давно бы турнул… А вы, молодой человек, не петушитесь… Лучше выпейте со мной портерку… Прошу, господа, – обратился штаб-офицер к кучке офицеров и крикнул: – Карла Иваныч, спроворьте дюжину портерку! За это англичан хвалю… Выдумали отличный напиток.

К штаб-офицеру подошло и несколько мичманов.

– Позвольте и нам присоединиться, Иван Иваныч.

– А то как же? Карла Иваныч! Еще дюжину!

– А вы, верно, ранены? – спрашивал юнец артил-

лерист, только что приехавший в Севастополь.

– Пустяки… Перевязал фершал…

– И вы на бастионе?

– А где ж? Я служу на четвертом!

– Счастливый! – восторженно проговорил юнец.

Штаб-офицер усмехнулся:

– Счастья мало, молодой человек, быть убитым или искалеченным… Не завидуйте такому счастью и не напрашивайтесь на него…

Ресторан гостиницы немца Шнейдера был битком набит. Одни уходили, другие приходили.

На бульваре Казарского [50] играла музыка. Теперь севастопольцы выходили по вечерам гулять на этот маленький бульвар, прежде обыкновенно не посещаемый публикой.

До войны «весь Севастополь» выходил вечером гулять в большой, густой сад, на бульвар «Грибок», где ежедневно играла музыка. Теперь на «Грибке» стояла батарея, сад был вырублен. Под обрывом «Грибка» чернел четвертый бастион.

Маленький бульвар Казарского был полон.

На главной аллее ходили взад и вперед принарядившиеся немногие севастопольские дамы, большей

[50] Так называется небольшой бульвар, на котором стоит памятник Казарскому, моряку, отбившемуся в войну 1829 года на своем бриге от трех турецких кораблей. (Примеч. автора.)

частью жены и родственницы моряков, и две-три дамы, оставшиеся, чтоб ходить за ранеными. Все они вышли подышать воздухом и взглянуть на людей в мирном настроении и гуляли по большой аллее в обществе мужей и знакомых, отпущенных с бастионов, пока неприятель замолк на ночь.

Болтали, шутили, смеялись. Разговаривали обо всем, кроме того, что ежедневно было на глазах и о чем как-то невольно избегали говорить, – о смерти.

Штабные адъютанты, и особенно приехавшие из Петербурга блестящие молодые люди, франтовато одетые, точно в Петербурге, они держались своего кружка, словно бы чуждаясь плохо одетых армейцев и громко говоривших моряков, не особенно заботящихся о свежести своих костюмов и свежести «лиселей» – воротничков, которые черноморские моряки всегда носили, несмотря на правила формы, запрещающие показывать воротнички.

Приезжие, казалось, интересовались более всего петербургскими делами, служебными и светскими сплетнями и воспоминаниями и если и говорили о войне, то по большей части повторяли мнения своих генералов и, разумеется, снисходительно-ядовито бранили главнокомандующего, князя Меншикова, который далеко не особенно любезно принимал приезжих из Петербурга с рекомендательными письмами

тетушек или влиятельных генералов. Он не удерживал приезжих в своем штабе, не предлагал никаких занятий, советовал возвращаться в Петербург, не давая случая отличиться и получить крест, или посылал в адъютанты к своим генералам.

Особенно недолюбливал Меншиков флигель-адъютантов [51], подозрительно думая, что они приезжали, чтоб быть соглядатаями и распространять еще большие сплетни в Петербурге. И с саркастической усмешкой старого Мефистофеля он любезно предлагал им посмотреть, как действуют бастионы.

– Нахимов возьмет вас с собой… Он любезный адмирал и каждый день во время бомбардирований объезжает все бастионы. Осмотрите все и доложите государю, что видели! Впрочем, я попросил бы вас отвезти письмо к его величеству, очень важное и спешное. Завтра оно будет готово. А сегодня отдохните. Дороги ведь отчаянные. Верно, устали, полковник! – говорил старый князь и иногда приглашал к себе обедать. «Чем бог послал», – прибавлял главнокомандующий, скупость которого и более чем скромные обеды были давно всем известны, как и обычные его замечания за обедами о вреде объедения и особенно опьянения. Недаром же на стол ставились только две бутылки дешевого вина.

---

[51] Флигель-адъютант – офицер для поручений при особе царя.

– Как угодно, ваша светлость! – с почтительной эффектацией отвечал один приезжий, скрывая далеко не приятные чувства к этому холодному и злому старику, который даже не спросил о том, что думают о Севастополе в Петербурге, и ехидно предложил человеку с блестящей карьерой немедленно быть раненым или убитым. Не для того же он приехал!

«Не все такие счастливцы, как Нахимов!» – подумал приезжий, которому эти ежедневные объезды бастионов показались в эту минуту даже ни к чему не нужной бравадой чудака адмирала. И, наконец, можно расспросить у него о том, что делается на бастионах, и потом рассказать в Петербурге об ужасах войны и о неспособности выжившего из ума главнокомандующего, так встретившего полковника, посланного военным министром с секретными письмами к князю Меншикову.

Ответ приезжего, видимо, понравился старику, и он гораздо любезнее промолвил:

– Большое спасибо… Отдохни и к шести обедать… Поговорим… А теперь видишь…

И старик указал на письменный стол, заваленный бумагами, и с горькой усмешкой прибавил:

– Все это надо прочесть и подписать… И сейчас приедут с докладами… До свидания, любезный полковник!

IV

Теперь этот полковник, побывавший у Нахимова, пообедавший у князя Меншикова и день отдыхавший под рев и грохот бомбардировки на квартире, вблизи Графской пристани, своего прежнего товарища по полку, капитана генерального штаба, – после объезда притихших бастионов был на бульваре.

Красивый, изящный и элегантный молодой блондин, недовольный, несколько свысока глядел на севастопольских защитников. Он был разочарован ими – до того они мало говорили о войне, так мало, по его мнению, понимали общую идею ее, не знали высшей политики Петербурга и были, особенно моряки, хоть и гостеприимны, но слишком фамильярны с гостем, точно он не флигель-адъютант, а заурядный товарищ, и не интересовались, зачем он приехал и зачем ездит по бастионам. И кто-то даже простодушно-грубовато заметил, что теперь нет ничего интересного.

– Днем куда интереснее! – прибавил какой-то мичман.

Брезгливо удивлялся полковник и грязи в блиндажах, и равнодушию к платью и белью, и отсутствию дисциплины моряков, разговаривающих со своими начальниками точно с товарищами. Даже к Нахимову,

как передавали моряки, в это утро один матрос обратился с фамильярным вопросом:

– Все ли здорово, Павел Степаныч?

И Нахимов добродушно ответил:

– Здорово, Грядко, как видишь!

Удивлялся полковник, что матросы не вставали и не снимали шапок перед начальством. Таково было приказание Нахимова.

И полковник, расхаживая под руку с капитаном генерального штаба по аллее и горделиво осаниваясь под любопытными взглядами дам, продолжал передавать приятелю свои севастопольские впечатления:

– Я рассчитывал послужить отечеству – делать здесь дело. Думал, что главнокомандующий воспользуется мною… оставит при себе, а он… гонит в Петербург… Завтра же я должен ехать с какими-то особенно важными письмами… Накормил меня отвратительным обедом, угостил рюмкой кислятины и после обеда пять минут поговорил со мной о том, что он похварывает и что у него нет способных людей… Вот и все напутствие. Передайте, говорит, в Петербурге, все, что видели. Отдохните и утром… с богом… Хорош тоже и ваш прославленный Нахимов… Я думал, что он в самом деле замечательный человек, и счел долгом представиться ему в полной парадной форме… как следовало… А он, как бы ты думал, встретил

меня?..

– Разве не любезно?..

– Очень даже просто и оригинально… Пожал руку, просил садиться и удивлялся, что я в таком параде. «Мы не в Петербурге-с. Надолго ли в Севастополь?..» Я доложил, что главнокомандующий посылает меня завтра же обратно с важными бумагами и что счел долгом представиться такому знаменитому адмиралу. Он только крякнул, сконфузился и молчал… И наконец сказал: «Хороший сегодня день, а как погода в Петербурге?» – «Скверная, ваше превосходительство». А он: «Извините, молодой человек, меня зовут Павлом Степанычем!» Опять молчит. Я спросил, что думают в Севастополе о своем положении? Полагал, что объяснит мне. Есть же у него соображения?.. И вместо того обрезал: «У нас не думают-с, а отстаивают Севастополь-с! Сегодня у англичан два орудия подбили-с с третьего бастиона, а с четвертого-с взорвали пороховой погреб-с!» Через минуту вошел в кабинет адъютант Нахимова. «Идите, говорит, Павел Степаныч, обедать, а потом отдохните и, верно, опять поедете на бастионы». – «А как же-с!» И, вставая, адмирал приветливо сказал мне: «Пообедайте с нами. Мундир свой лучше расстегните»… Был второй час, я только позавтракал, поблагодарил, прибавил, что очень счастлив познакомиться с таким героем, и

стал откланиваться. Он даже вспыхнул и, пожимая руку, сказал: «Все здесь исполняют свое дело-с… Какое тут геройство-с… И какое тут счастье видеть меня-с… Вот убитый Владимир Алексеич Корнилов был герой-с… Он организовал защиту-с… Благодаря ему мы вот-с еще защищаем Севастополь… Счастливого пути-с! Мирошка! Подай барину шинель!» – крикнул адмирал…

Полковник примолк на минуту и проговорил:

– Знаешь, какого я мнения о Нахимове?

– Какого?

– Храбрый адмирал, но корчит оригинала и не очень-то далекий человек… Репутация его раздута…

Но капитан генерального штаба не разделял мнения флигель-адъютанта и горячо возразил:

– Нахимов застенчив и скромен… Но он истинно герой и необыкновенно добрый человек… Он никого не корчит… и всегда прост… Если б ты знал как любят его матросы…

– И как уважают его все офицеры! – неожиданно прибавил взволнованным голосом какой-то моряк-лейтенант, обратившись к капитану.

И прибавил, протягивая руку:

– Позвольте, капитан, горячо пожать вашу руку… На бастионах не раздуваются репутации… Это не в Петербурге и не на парадах! – значительно подчерк-

нул лейтенант и, пожавши руку капитана и не обращая ни малейшего внимания на приезжего, отошел к своему товарищу.

Полковник побледнел.

Он только презрительно скосил глаза на лейтенанта и, брезгливо пожимая плечами, благоразумно тихо промолвил:

– Как распущены моряки! Верно, пьяницы!

– Ты ошибаешься… Некогда им пить! – возразил капитан.

А лейтенант негодующе и громко проговорил, обращаясь к нескольким морякам:

– Ну, господа, хорош «фрукт»!

Через пять минут на бульваре уже прозвали приезжего полковника «петербургской цацей».

И он ушел с бульвара обозленный и негодующий.

– Не вызывать же этого наглеца на дуэль! – сказал он.

В боковых аллеях было люднее. Там публика была попроще. Матроски, мещанки, торговки и горничные, принаряженные, в ярких платочках на головах, щелкали семечками и «стрекотали» между собой и с знакомыми франтоватыми писарями, мелкими торговцами и приказчиками. Отставные матросы и подростки окружали музыкантов, когда они играли, и похваливали и музыкантов и Павла Степановича, благодаря ко-

торому каждый вечер играла музыка.

– Обо всем подумает наш Павел Степанович! – говорили старики.

В боковых, более густых аллеях бульвара было оживленнее, чем на большой аллее. Было более шуток, смеха и болтовни во время антрактов.

Но, как только музыка начиналась, разговоры стихали, и все слушали… Все, казалось, еще более наслаждались чудным вечером. И лица, залитые серебристым светом месяца, казалось, были вдумчивее и восторженнее под влиянием музыки.

В десять часов, когда музыканты ушли, бульвар опустел. Скоро город затих.

Затихла и оборонительная линия.

На бастионах и батареях крепко спали уставшие за день люди. Бодрствовали только «вахтенные», как поморскому звали часовых, да знаменитые «пластуны» – кубанцы-казаки, залегшие впереди бастионов в «секрете», где-нибудь в балке или за камнем. Они зорко смотрели и чутко слушали, что делается в неприятельских траншеях и «секретах», совсем близких от притаившихся и, казалось, невидимых пластунов… Ни звука, ни шороха с их стороны. Казалось, они не дышали, эти ловкие разведчики, одетые в какое-то оборванное тряпье с мягкими бродними [52] на ногах, с

[52] Бродни – сапоги особого рода, подвязываются под щиколотками и

кинжалом за поясом и винтовкой, обернутой чем-то, чтоб она не блеснула на луне или не звякнула.

И нередко, словно кошка, пластуны подползали к «секретам» вплотную и схватывали врасплох французов или англичан, завязывали им рты и тащили с тою же предосторожностью на наши бастионы и докладывали: «Языка добыли». А захваченные ружья продавали офицерам.

Только на двух батареях за оборонительной линией шла работа. Солдаты исправляли повреждения, сделанные бомбардированием за этот день.

А хозяева этих батарей – матросы, заведующие пушками, – отдыхали повахтенно. Часть наблюдала за работой, а другая – крепко спала.

Над Севастополем и окрестностями стояла красивая ночь. Становилось холоднее.

под коленями.

ГЛАВА IX

I

Был восьмой час вечера, когда Бугай с Маркушкой, минуя «Грибок», подошли к четвертому бастиону.

– Вам чего? – спросил часовой у входа в бастион.

– Повидать одного матросика знакомого. А мальчонку отец! – невольно понижая голос, проговорил Бугай.

– Что ж, иди. Только спят все… Вахтенных спроси…

На площадке бастиона, залитого месяцем, под заряженными пушками и у пушек лежали матросы, покрытые бушлатами, с шапками на головах. Среди тишины раздавался храп спящих.

Только несколько «вахтенных» стояли у банкета [53] и по углам бастиона и взглядывали «вперед» на чужие батареи. А «вахтенный» офицер – молодой мичман, сидя верхом на пушке, поглядывал то вперед, то на звезды и тихо напевал какой-то романс.

Старик и мальчик торопливо подошли к тому уг-

---

[53] Банкет – насыпь с внутренней стороны бруствера, на которой стоят стрелки.

лу бастиона, где стояло орудие, из которого Ткаченко обещал «шугануть» француза.

Они жадно заглядывали в лица спавших у орудия.

Пересмотрели всех.

Не было черномазого, как жук, заросшего волосами Игната. Не было ни одного из тех матросов, которых видели за обедом Бугай и Маркушка, когда были на бастионе в гостях у Ткаченко, за несколько дней до первой бомбардировки.

Все незнакомые лица.

– Дяденька! Где же тятька? – надрывающим тихим голосом спросил Маркушка, испуганно заглядывая в глаза Бугая.

– Может, у другой орудии! – еще тише промолвил Бугай, отводя в сторону взгляд, точно чем-то виноватый перед мальчиком, который сейчас узнает, что отца нет в живых.

И спросил подошедшего вахтенного матроса:

– Где тут у вас Ткаченко?..

– Такого не знаю. Я на баксионе со вчерашнего дня… Вот мичмана спроси… Тот давно здесь… И хоть бы царапнуло… Он счастливый! – ответил матрос. – Ничего не поделаешь! – неожиданно прибавил он, словно бы отвечая себе на какой-то вопрос, появившийся в его уме.

Молодой мичман, чему-то улыбающийся, быть мо-

жет луне, звездам и радости жизни, спрыгнул с орудия и, подбегая к нежданным гостям, ласково спросил:

– Да вы, братцы, кого ищете?

– Комендора Игната Ткаченко, ваше благородие…

– Мой тятька, ваше благородие! А мамка на днях умерла! – почему-то счел нужным прибавить Маркушка, словно бы инстинктивно желая отдалить ужас ответа.

И мичман это понял. И веселая улыбка внезапно сбежала с его пригожего, жизнерадостного лица.

– Твой отец жив, голубчик… Сегодня днем осколком ранило… Кажется, в ноги… Именно в ноги… Он в морском госпитале. Там поправят… Непременно поправят! – возбужденно и искренне говорил мичман.

Добрый, бесхитростный и необыкновенно простой в отношениях к людям всяких положений, этот жизнерадостный и всегда веселый мичман пользовался общей симпатией и начальства, и товарищей, и матросов, и севастопольских дам, и севастопольских торговок.

Недаром же почти все офицеры звали его «Володенькой», матросы – «Ласковым» и «Счастливым», дамы – «Милым мичманом», торговки – «Голубком», а сам Павел Степанович на днях на бастионе сказал ему: «Лихой вы мичман-с!»

Впечатлительный мичман в эти минуты старался

уверить и себя – и главное ради мальчика – и его в том, что Ткаченко, унесенный с бастиона без ног, оторванных осколками бомбы, – будет жив.

Чем более жалел он Маркушку с его испуганными темными глазами, тем более и сам верил, что мальчик не останется круглой сиротой.

И мичман еще возбужденнее и увереннее сказал:

– И не таких раненых починяют. А твой отец крепкий, здоровый матрос. Его легче поправить… Поверь, голубчик…

– То-то и есть, Маркушка! – поддакнул Бугай, поверивший словам мичмана. – Валим в госпиталь, Маркушка. Пустят, ваше благородие?

– Отчего не пустить? Скажи там: «Сынишка, мол, раненого на четвертом бастионе». Пустят. А то вот записку дам… знакомому доктору…

Мичман подал Бугаю клочок бумаги. Потом подал Маркушке рубль и велел купить бутылку белого вина в лавке Соферо.

– Знаешь?

– Знаю.

– Отнеси вино отцу. Рюмку выпить полезно. Верно, доктор позволит. С богом, братцы… Кланяйся отцу, Маркушка.

– Как назвать вас, ваше благородие?

– Скажи, от «Счастливого мичмана».

– Счастливо оставаться, ваше благородие! – промолвил Бугай.

Маркушка поблагодарил.

Они пошли в город.

Мичман вскочил на орудие. Он то посматривал в подзорную трубу на чернеющиеся французские батареи, то снова любовался звездным небом и подпевал.

Среди безмолвия ночи над городом и степью, насыщенными кровью, мягкий, необыкновенно чарующий баритон мичмана звучал не скорбью, а прелестью и счастьем жизни.

Словно бы ее неудержимая, стихийная мощная сила, полная веры в себя, отгоняла и мысль о возможности умереть.

Счастливый мичман, казалось, и не подумал, что завтра, рано утром, смерть снова налетит, как ураган, на бастион за людьми, осыпая их бомбами, гранатами и ядрами.

И пел себе да пел романс за романсом.

II

Бугай и Маркушка молча и скорыми шагами спустились в город. Они купили бутылку вина, пошли к пристани и отвалили на своем ялике, направляясь в южную бухту, чтоб переправиться через нее и пристать к госпиталю.

Музыка с бульвара долетала до наших приятелей.

На рейде царила тишина. Но в Южной бухте чаще раздавалась мерная гребля военных баркасов, полных раненых.

Скоро ялик пристал к пристани. Через несколько минут Бугай с Маркушкой вошли в главный подъезд госпиталя, вошли в большие сени и не могли двинуться – такая толпа людей, ожидающих помощи, была здесь. Стоял стон. Раздавались крики и мольбы о помощи.

Маркушка ахнул и схватился за штанину Бугая.

– Народу-то, господи! И как найти тятьку! – промолвил Маркушка.

– Найдем!..

Сени были битком набиты. В ожидании приема и осмотра раненые стояли, сидели на подоконниках, на полу. Многие лежали без сознания и, казалось, умирали. Два госпитальные служителя повторяли: «По-

времените, братцы!» Писаря записывали фамилии. В толпе ходили две женщины. Они поили вином, освежающими напитками и то и дело ласково говорили:

– Подождите… Потерпите, братцы. Доктора заняты более трудными ранеными. Сейчас и вас осмотрят и всех уложат в палатах.

Одна – пожилая женщина – была в форменном коричневом платье с белым капюшоном на голове, с крестом на шее, другая – молодая – была в легком темном платье, гладко зачесанная, с обручальным кольцом на маленькой руке.

Обе, сопровождаемые госпитальными матросами с ковшами и мисками, никого не обходили и каждому находили ободряющее ласковое слово.

– Это какие же барыни? – спрашивал Маркушка.

– Одна милосердная вроде как бы казенная из Петербурга прибыла… призревать людей… Видишь – заботливая, еле ходит – устала, а обнадеживает… И хоть бы прикрикнуть… Другой зря кричит… А другая, Маркушка, вольная милосердная. Знакомая барыня, Анна Ивановна Вергежина, супружница капитан-лейтенанта… Он на баксионе, а она вон где… Осталась по доброму сердцу в Севастополе… Жалостливая…

– Ее и спроси насчет тятьки…

– Как подойдет… Видишь, за делом… И всякому ответь…

Кто-то спрашивал «милосердную»:

– Матушка! А не убьют бомбой в госпитале? От баксионов близко…

– Скоро переведут госпиталь в морское собрание… Павел Степаныч уже распорядился насчет этого… А пока слава богу! – успокаивала пожилая «милосердная», как звали матросы и солдаты сестер.

Анна Ивановна, побледневшая от усталости, подошла к одному раненому, вблизи от Бугая и Маркушки. И, когда она подала ему стакан воды с вином, старый яличник окликнул ее:

– Барыня!.. Вашескородие!.. Дозвольте обеспокоить…

Молодая дама узнала Бугая.

– Ты зачем здесь?

– По причине Маркушки… Вот он самый. Отца пришел проведать… Ранен в ноги на четвертом баксионе. Ткаченко… Допустите к нему, Анна Ивановна. Вот и письмо от Ласкового мичмана к доктору…

Анна Ивановна грустно-грустно взглянула на Маркушку, погладила его всклокоченную голову и сказала:

– Идите в третью палату. Он там… Обратитесь к сестре. Она покажет…

– А как тятька? – нетерпеливо спросил Маркушка…

Молодая женщина ничего не ответила и только указала, как пройти в палаты.

Через пять минут Бугай и Маркушка протолкались и осторожно вошли в третью палату.

ГЛАВА X

I

В палате тяжелораненых, заставленной тесными рядами коек, было невыносимо душно. В ней пахло удушливым, смрадным запахом гниющего тела, крови и пота.

В полусвете от нескольких оплывших сальных свечей и серебристых, бледных лунных полос, льющихся в раскрытые окна палаты, видны были мертвенные лица людей, лежавших на койках, покрытых соломой. Многие раненые не были прикрыты, и вместо ноги бросался в глаза какой-то толстый, обмотанный бинтами обрубок. Вместо рук – те же обрубки в бинтах. Повсюду люди в перевязках.

Можно было бы подумать, что здесь лежат мертвецы, если бы в разных концах палаты не раздавались стоны и тихие голоса, полные просящей тоски:

– Пить!.. Ради Христа, пить!

– Помоги, сестрица. Родимая, помоги!

– Подойди, милосердная…

– Скорей бы пришла смерть… Возьми меня, господи!

Кто-то, казалось, в бреду, звал свою матроску. Кто-то возбужденно говорил о подбитом орудии у «француза». Кто-то упорно повторял все одни и те же слова уже коснеющим языком:

– Врешь, бомба, не убила! Врешь, подлая, не убила!

Еще минута, другая, и на слове «врешь» голос затихал навеки.

Пожилая сестра милосердия бесшумно ходила между койками, останавливаясь у зовущих, и подавала пить, утешая ласковым словом, гладила воспаленные головы, засматривала в бледные лица и, казалось, ласкала их своими большими, вдумчивыми и необыкновенно добрыми глазами. Два фельдшера разносили питье, поправляли повязки и по временам приказывали служителям выносить из палаты только что переставшего жить. На очистившуюся койку сейчас же вносили другого тяжко раненного, только что ампутированного в операционной зале, где безустанно работали морские врачи.

Маркушка был потрясен от того, что увидал.

И он забился в угол у дверей. Он весь съежился и вздрагивал. В расширенных зрачках его темных глаз стояло выражение ужаса, тоски и жалости.

Застыл в угрюмом молчании и Бугай при виде этих непереносных страданий людей, ожидающих смерти.

«Уж лучше бы наповал убивало людей!» – подумал старик, невольно протестуя своим добрым сердцем.

И, повернувши окаменевшее лицо к Маркушке, погладил своей шершавой рукой понуренную, всклокоченную голову мальчика – круглого сироту, как не сомневался уже больше старый яличник.

Эта неожиданная ласка вызвала на глаза Маркушки крупные тихие слезы. Но он с решительной торопливостью вытер их своей грязной рукой и голосом, полным сдержанного рыдания, проговорил:

– Найдем тятьку, дяденька! Быть может, еще мучается. Пусть не один помрет! И вина выпьет.

И чуть слышно прибавил:

– Мичман напрасно обнадежил насчет тятьки, ежели две ноги оторвало!

– Много, братец ты мой, пропадает народа на войне. Надо умирать, ежели смерть придет. Всем будет крышка… Господин фершал! – вдруг остановил Бугай вошедшего в двери уставшего фельдшера.

– Что тебе?..

Старик объяснил свою просьбу: дозволить проведать матроса Игната Ткаченко, у которого оторваны обе ноги на четвертом бастионе.

И тихо спросил:

– Жив еще?

– Черномазый такой?..

– Он самый…

– Перевязывал, как отрезали обе ноги. Молодцом терпел перевязку. Вон у последнего окна вправо этот самый черномазый матрос. Кажется, жив.

– Выживет?

– Какое! Безнадежный! Антонов огонь уж забрал ходу. До утра вряд ли доживет. Сынишка? – махнул головой фельдшер на Маркушку.

– Сынишка.

– Так ступай с ним и объявись старшей милосердной. Пустит, и вином угости матроса. Теперь все ему можно!

С этими, казалось, равнодушно торопливыми словами человека, уже привыкшего к крови ужасных ран, искалечений и операций, к страданиям и смерти, молодой и истомленный фельдшер, с чахоточными пятнами на обтянутых щеках и с лихорадочными, ввалившимися большими глазами, пошел к койкам осматривать, нет ли покойников, очистивших койку.

– Пойдем, Маркушка!

И словно бы Бугаю пришлось вести мальчика среди опасности, старик взял его за руку.

Сосредоточенный, серьезный, осторожно ступал он между койками, деликатно не глядел по сторонам на раненых, словно бы чувствуя, что одно уже любопытство здорового человека могло обидеть людей,

большая часть которых обречена на смерть.

Так же, опустив свои испуганные глазенки, точно виноватые перед великостью людского страдания, шел, не выпуская своей руки из широкой руки Бугая, Маркушка, побледневший, полный жуткого чувства тоскливого страха и едва выносивший этот ужасный, смрадный воздух.

– Вам кого? – тихо спросила пожилая сестра милосердия с усталым лицом, отходя от одной из коек.

И, взглянув на Маркушку, приветливо и участливо потрепала своей длинной, белой рукой щеку мальчика.

– Тятьку! – порывисто сказал Маркушка.

Бугай поторопился назвать отца мальчика и указал место, где койка Игната Ткаченко.

– Фершал обещал… Вы, мол, дозволите мальчонке навестить отца. Мы на баксионе узнали, где он.

Сестра как-то значительно грустно повела глазами на мальчика.

– А мать отчего не пришла?

– Недавно померла! – ответил Маркушка.

– Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

– Я у дяденьки живу.

– Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! – вступился Бугай.

– Отправил бы ты его из города. Мало ли что случится.

– Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

– Я с ним останусь, барыня! – решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

– Где же тятька?.. Дозвольте, добрая барыня…

– Ишь ты… милый! – сердечно вырвалось у сестры.

– И вот вино…

– Можно. Идите за мной.

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру… То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

– Сию минуту. Приду, матросик…

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше…

Наконец она остановилась у койки, где лежал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

– Гости пришли…

Глаза матроса оживились радостью, когда он уви-

дал Маркушку и Бугая.

– Ишь ведь Маркушка… Разыскал отца… Молодца мальчонка…

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

– Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки…

– Хочешь, Игнат? Сестра позволила, – спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

– Какой у меня Маркушка, сестрица!..

– Славный у тебя сын, Игнат! – промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

– Спасибо тебе… Береги сироту… У сестры мои три карбованца… Так для Маркушки…

– Будь спокоен за Маркушку… Сберегу мальчонку…

– Мне не надо… Вам пригодятся деньги, тятька.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

– Дюже болит? – спросил Маркушка.

– Не очень… Пройдет… Прощай, Маркушка… Прощай, Бугай… А я, я… Что-то в глазах… Мутится… Где ты, Маркушка… Маркушка?..

– Я здесь, здесь, тятька!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

– Тятька! Я здесь! – крикнул в ужасе Маркушка.

– Не замай… Он заснуть хочет! – сказал Бугай, утирая слезы.

– Ступай домой, Маркушка! – ласково промолвила подошедшая сестра. – Он… скоро перестанет мучиться…

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

II

Только забрезжило перед рассветом, как Маркушка поднялся, осторожно оделся, чтоб не будить Бугая, и со всех ног бросился на Северную сторону и переправился на ялике к госпиталю.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосердия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

– Умер? – спросил мальчик.

– Умер! – ответила сестра.

И прибавила:

– Скоро после того, как ты простился с ним… И

умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

– Можно посмотреть на тятьку?.. – глотая слезы, возбужденно спросил он.

– Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне…

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

– И зачем это люди убивают друг друга… Зачем?

– Милый… Уходи скорей домой… Светает… Начнется бомбардировка… Здесь долетают снаряды…

– Пусть и меня убьет!..

– Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

– С дяденькой Бугаем.

– А он чем занимается?

– Яличник! – не без достоинства произнес Маркушка.

– А ты?

– Рулевым у дяденьки на ялике! – еще горделивее сказал мальчик.

– Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

– Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

– А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

– Уж чего лучше быть рулевым… Я хотел было на баксион, где убили тятьку, так тятька не велел и дяденька не пущает!

– Еще бы… Зачем тебе идти на смерть… Не надо… Не надо! – взволнованно произнесла сестра.

– Зря убьют… А то искалечат, как меня! – раздался вдруг раздраженный голос с койки. – Не ходи на баксион…

– То-то… надо жить. Ты грамотный?

– Вовсе мало. Самоучкой…

– А ежели тебя обучить… многое узнаешь… И тебе будет жить лучше… Я тебя еще повидаю! – решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. – Где ялик Бугая?

– На перевозе около Графской.

– А я буду близко… Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской…

– А я никуда не уеду от дяденьки! – вызывающе ответил Маркушка. – И сам научусь грамоте, если захочу… Меня никто не смеет отнимать от дяденьки…

– Да я и не думаю… Ну, ступай, Маркушка… Только вперед возьми у меня вещи отца… Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя… Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую ком-

нату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины – от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

– Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную… Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! – прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

– Спасибо вам, добрая барыня, – промолвил Маркушка…

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

– А вам надо отдохнуть… Изморились-то за ночь…

– В восемь уйду с дежурства и высплюсь…

– То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная ба-

рыня… Я не пошел бы на такую службу… Тяжко смотреть… А уж на тятьку…

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца…

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы… Несколько ядер упало недалеко от ялика…

– Ишь ты… Опять народ бьют! – проворчал яличник, принаваливаясь на весла… – А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

– Отца убило! – резко вымолвил Маркушка.

– То-то и есть. Много сирот останется! – сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро облака порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

III

При виде Маркушки с лица Бугая исчезло тревожное выражение, но зато встретил он своего друга довольно сердито.

– Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты… бегать, вроде арестанта, без спроса… Куда бегал?

– В госпиталь…

– Мог побудить… Вместе пошли бы!.. А то…

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневаясь, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки…

И он оборвал упрек и сказал:

– Пей-ка чай… Да кантуй бублики…

– Уж отвезли на Северную… Зарыли… Вот возьмите, дяденька… А вино пейте! – говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

– А вы не серчайте, дяденька… Не сустерпел… Захотел взглянуть… Милосердная задержала…

– Как не взглянуть… Это ты правильно… Только меня бы взял… Ну, а я, Маркушка, не серчаю… Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде

быдто одного на свете заботливого внучка, – необыкновенно ласково проговорил старик…

И он нежно погладил голову Маркушки и сказал:

– Поди прежде помойся… А то вроде цыгана.

Скоро Маркушка несколько отмыл грязь со своего лица и рук.

Без Маркушки Бугай и не думал пить чай.

Старик был в большой тревоге, пока не вернулся его приемыш. Особенно он тревожился, когда началась бомбардировка. А мальчонка «отчаянный».

Бугай быстро спрятал в сундук сверток, а бутылку поставил на маленький некрашеный самодельный столик, где собран был чай, и сказал:

– Нечего его для тебя, Маркушка, беречь… А достальное все будет сохранено. И что от матери осталось – вон в другом сундуке… И все здесь твое, Маркушка, ежели как помру… И ялик тебе… Да ты не кукся… Я, значит, для примера…

Перед тем что приняться за чай, Бугай для чего-то посмотрел на бутылку и, откупоривши ее, проговорил:

– Надо попробовать, какое такое рублевое вино…

И он попробовал его из горлышка раз, другой, третий и проговорил:

– Большого скуса в нем нет, Маркушка… Так вроде быдто кваса…

Бугай опять посмотрел на бутылку, но уж с видом

некоторого презрения былого пьяницы. Словно бы вынужденный каким-то не особенно приятным долгом порядочного матроса докончить ее, он проговорил:

– Не зря же ему пропадать!

С этими словами старик выпил остальное и сказал:

– А ведь лакают эту дрянь господа!.. Выдуй ее хоть ведро – только брюхо вспучит… Куда водка скусней.

– Может, вино для поправки здоровья…

– Разве что для господ… А для поправки матроса дай ты ему стаканчик-другой водки, куда пользительней…

И Бугай прикусил своими еще крепкими зубами крошечный кусок сахара и стал пить чай, заедая его пополам татарским бубликом.

Выстрелы гремели. Слышался свист и разрыв бомб.

Но о них ни Бугай, ни Маркушка не сказали ни слова, точно уже не обращали внимания, как на самое обыкновенное и привычное явление с рассвета.

Бугай в это утро был словоохотливее, чем обыкновенно, видимо желая отвлечь Маркушку от горя. Он рассказал о том, как служил фор-марсовым на корабле «Двенадцать апостолов» под начальством Корнилова, и прибавил:

– Царство ему небесное!.. Уж на что был необходимый по уму начальник, а и то убит… Ничего не поде-

лаешь, братец мой, против ядра или бомбы… И, если дело разобрать, зачем мы хорохорились… Тоже: ни войска в плепорцию, ни стуцера, ни генералов… И как бы растерянный Менщик… На мирном положении оказывался умным, а как ум потребовался… и ум весь вышел… Спрятался от всех и только скулит: «Солдаты, мол, нехорошие». Ах ты… бесстыжий… Ах ты…

– То-то Изменщиковым и зовут! – поддакнул Маркушка.

– На это не посмеет. Тоже император наш не простил бы!.. Да Менщик и страсть богатый. Одних крестьян у него, сказывают, до двадцати тысяч… Так на измену он не польстился. А просто вроде как бы меня, матрозню, назначили в господа… Какой из меня барин?.. Вот так и Менщик… Ничего в своем деле не понимает! И хоть бы понял простого человека… Обнадежил бы словом. Забился на Северную… Оттуда только слышна бондировка, а его не касается. Да лепорты получает, что каждый день народ пропадает… Думаешь: Пал Степаныч зачем как каждый день на баксионы приехал, сейчас в аполетах, да на самое опасное место?

– Зачем?

– На смерть лезет… Видит: вовсе нет нам одоления… Одна только оттяжка Севастополя… Какой Менщик… и какие распорядки… Так, по своей сове-

сти, Нахимов ищет смерти, чтоб не видать, как нас расстреливают да под конец разнесут Севастополь. Только ни ядро, ни бомба, ни пуля не берут его… Пока Пал Степаныч цел, нет-нет и надежда не пропадает… Он, наш праведник и матросам отец, мол, вызволит…

– Сказывали, дяденька, что Нахимов заговоренный. Оттого всякая пуля прочь от него! – заметил Маркушка.

– Для матросиков, видно, бог его бережет… Чтобы народ не приходил в отчаянность. А Пал Степаныч во всякую минуту готов принять смерть… Прост он с нашим братом… Понимает, что все люди одного шитья… На службе ты матрос, а душа в нем такая, как у начальника, будь ты хоть полный адмирал… Оттого и смерти не боится… А которые о себе полагают и над простым человеком зверствуют, те смерти боятся и при первой царапинке сейчас с баксиона в укромное место… «Очень, мол, непереносима конфузия», – переиначил Бугай «контузию», передразнивая своим сиплым баском предполагаемого им трусливого офицера.

И прибавил:

– Ты понимай это, Маркушка.

– Понимаю, дяденька!

– Только на смерть зря лезть не годится… Это разве Нахимову можно… Слава богу, оказал себя во всю

жизнь… И обидно ему за Севастополь… Смекнул, Маркушка?

– Смекнул…

– А ты про себя все полагал: «На баксион да на баксион!» Вырастешь – пойдешь на баксион, если понадобится. Жизнь-то, братец ты мой, ко всему приведет… А теперь своему «дяденьке» помогай пока что в рулевых на ялике…

– Я всем доволен, дяденька, около вас…

– И я доволен, что ты со мной.

– Никуда от вас и не уйду! – вдруг решительно произнес Маркушка.

– Разве сманивал кто?.. Уж не яличник ли Брынза?

– Я бы ему поднес дулю… Милосердная сестра в госпитале говорила…

– О чем?

– Тебя, говорит, Маркушка, надо лучше устроить. И жить, мол, будешь лучше…

– А ты что?

– Мне, мол, и при своем деле хорошо.

– Что же тебе советовала милосердная? Человек-то она, прямо сказать, праведный по своей работе… Дурного не присоветует мальчонке…

– Обучиться тебе, мол, грамоте надо…

– Это, брат мой, умно присоветовала… Ловко бы тебя обучить и книжку понять и писать… Чего лучше?

И Бугай призадумался.

– Я и сам обучусь, дяденька… Достать бы только такую книгу.

– Книгу мы спроворим, а как без учителя… Без учителя не понять… Пойми-ка… Не хвастай, Маркушка.

Мысль о том, что Маркушка будет «форменно умный», очень обрадовала Бугая, и он придумывал, где бы найти ему учителя в безопасном месте.

А Маркушка, по-видимому и сам желавший самому почитать книжку, еще решительнее сказал:

– Я, дяденька, немного умею по складам…

– Умеешь? – изумился старый матрос.

– Вот те крест: умею… Сам выучился…

– Однако и башковатый же ты, Маркушка! – протянул Бугай, проникнутый необыкновенным уважением к мальчику, выучившемуся без учителя по складам.

Это казалось ему неимоверно трудным.

И в доказательство этой трудности прибавил:

– Скажи мне: «Бугайка! Пойми книжку или получи триста линьков», – я в секунд принял бы порцию линьков… А ты… сам?

Решено было насчет книги спросить «милосердную», а ежели понадобится что показать, так Маркушка спросит знакомого писарька… Он каждый день шмыгает на Северную… Дорогой и покажет…

Этот план привел в хорошее настроение старого

яличника и несколько отвлек Маркушку от тоскливых мыслей…

В шесть часов утра они уже были на ялике и принялись за обычную свою работу – перевозить пассажиров из Севастополя на Северную сторону и обратно. Один греб. Другой правил рулем.

В первый же рейс Бугай и Маркушка сходили на большую насыпь над общей могилой, постояли несколько минут, истово крестились и становились на колени. И мальчик, значительно облегченный от исполненного им долга, и Бугай, посетивший могилу бывшего приятеля, поручившего сына, и снова пообещавший в мысленных словах беречь мальчика, – оба торопливо и, казалось, спокойнее вернулись на шлюпку и, забравши пассажиров, повезли их в Севастополь.

– А милосердная придет? – спросил под вечер Бугай.

– Беспременно придет. Обещалась! – уверенно и доверчиво отвечал Маркушка.

– Как только ей оторваться от дела… Работает, добрая душа, до отвала…

– Переведут госпиталь к Графской, и сам к ней сбегаю.

– Она ведь все знает… И скажет, где достать книжку! – заметил Бугай.

И действительно, сестра милосердия, не забывшая понравившегося ей Маркушку, через три дня, часу в восьмом утра, пришла на пристань и окликнула своих друзей.

ГЛАВА XI

I

– Небось пришла! – шепнул, полный горделивого чувства своей правоты, Маркушка, подталкивая Бугая.

И оба, при виде сестры милосердия, встали на своем ялике и сняли шапки.

– Вот и пришла проведать маленького рулевого. Здравствуй, Маркушка! Здравствуй, Бугай… Мы ведь соседи… Вчера перебрались в морское собрание! – говорила сестра спокойно, тихо и тем грудным мягким голосом, который звучал проникновенной, охватывающей душу сердечностью.

Но особенно ласковы были глубокие глаза, большие, лучистые и грустные. Они точно светились особенным тихим внутренним светом, исходящим из них, и эти глаза делали поблекшее, усталое и худое продолговатое лицо в белом коленкоровом форменном капоре сестры милосердия необыкновенно чарующим своей прелестью высшей духовной красоты.

В Севастополе не знали, кто она и откуда.

Об этом сестра милосердия не рассказывала.

Знали и благословляли раненые только «милосердную» Ольгу.

Одному Нахимову, к которому она явилась вскоре после первой бомбардировки с просьбой разрешить ей ходить за ранеными, приезжая должна была сообщить, что она княжна Ольга Владимировна Заречная, и пояснить, что дочь того известного богача и опального сановника Заречного, который живет теперь за границей.

И княжна попросила Нахимова оставить в секрете об ее звании.

– Пусть для всех я буду сестра Ольга и, если нужно, просто Заречная!

Нахимов, сам не знавший и не терпевший тщеславия, молча, но с особым уважением пожал руку княжне, добровольно приехавшей в Севастополь на тяжелый подвиг, и, разумеется, исполнил обе ее просьбы.

– А я знал, барыня, что вы придете! – возбужденно-радостно воскликнул Маркушка.

– А почему, Маркуша?

– Обещали… И вы…

Маркушка внезапно оборвал речь.

– Что ж замолчал?.. Ну, какая по-твоему? – с вызывающей добротой спросила сестра Ольга.

И она почувствовала себя в особенно хорошем настроении здесь, на берегу моря, с Маркушкой и Бу-

гаем, неожиданно ставшими близкими, хотя и такими далекими по своему положению, такими грязными и плохо одетыми и такими, казалось ей, мужественными и хорошими.

– И скажу, коли хотите! – самолюбиво вспыхивая, ответил Маркушка. – Вы не таковская, чтоб объегорить.

– То есть не исполнить обещания?

– Ну да… Обыкновенно: объегорить или поддедюлить! – деловито пояснил Маркушка, видимо щеголяя своим уменьем распоряжаться глаголами.

– Спасибо… Ишь ведь ты какой доверчивый, Маркуша.

Но эта искренняя хвала Маркушки вдруг, казалось, напомнила сестре милосердия что-нибудь невеселое, потому что она с грустной раздумчивостью промолвила:

– Не очень-то хвали, Маркуша…

– Нешто объегориваете?

– Случалось, и мне приходилось лгать…

И, снова отдаваясь хорошему настроению, именно благодаря этому жизнерадостному, впечатлительному мальчику, сестра Ольга заботливо проговорила:

– Да что вы стоите… И без шапок… Еще напечет солнцем. Садитесь и наденьте их.

Они надели свои измызганные матросские фураж-

ки.

Но Бугай не садился и сказал, кивнув головой на Маркушку:

– Очень обнадежен был, что вы придете… Дожидал вас…

И, спохватившись, прибавил:

– А я, старый дурак, и не предложил барыне прокатиться… Погода форменная. Может, на Северную угодно, в Голландию [54], а то в Ушакову балку… Пожалуйте, барыня! Со всем удовольствием прокатим и… не требуется платить… Милосердная… Чертенок Маркушка! Проси барыню…

– Ловко прокатим… Передохнете от своей службы, добрая барыня.

Как благодарно улыбалось лицо бледной женщины! Как заманчиво было предложение старика яличника, поддержанное симпатичным маленьким рулевым!

Утро выдалось бесподобное.

Море так и манило и своей чарующей таинственной красотой затишья, и ласковым шепотом лениво набегающего прибоя, и нежными, как тихие вздохи, ритмическими переливами замлевшей синевы вод.

Оно дышало бодрящей свежестью и каким-то особым ароматом морской травы. Солнце так нежно грело с бирюзовой и, казалось, улыбающейся выси.

---

[54] Голландия – бухта и поселок в Севастополе.

А утомленной бледной сестре и ее исстрадавшейся из-за людских страданий душе так хочется хоть короткого отдыха, хочется быть хоть чуть-чуть подальше от несмолкаемого грохота орудий и шипенья и свиста бомб и ядер, так до тоски хочется полной грудью надышаться чудным воздухом моря после спертого и смрадного воздуха палаты.

Но там, в госпитале, страдания. Там люди ждут от нее слова, взгляда, даже мановения участья…

И сестра говорит:

– Спасибо, милые… Хотелось бы прокатиться, но не могу… Через четверть часа мне на дежурство… Но как-нибудь я поеду с вами… А ты, Маркуша, отчего меня ждал?.. Или надумал уехать отсюда?.. Только скажи. Я отправлю тебя в приют или в школу…

Маркушка снова энергично замахал головой.

– Он, барыня, насчет книжки хотел вас спросить, – осторожно промолвил Бугай. – Он у меня башковатый… Сам по складам умеет… Вот он у меня какой Маркушка… И спасибо вам, барыня, он в задор вошел… Хочет сам выучиться. Так где нам такую книжку достать? А мы деньги заплатим… Сколько потребуется…

Сестра Ольга обрадовалась.

– Ай да молодец, Маркуша!..

– Только достаньте книжку, а я выучусь.

Сестра обещала через несколько дней достать азбуку и склады и предложила Маркушке заходить к ней на квартиру на четверть часа по утрам. Она ему поможет.

Но Маркушка деликатно отказался. Он и сам может, и знакомый писарек в случае чего покажет.

– А забежать – забегу… И на ялике прокатим вас, добрая барыня. Только прикажите.

Сестра Ольга еще несколько минут проговорила с Маркушкой и его пестуном, узнала, где они живут, обещала заходить на пристань и звала Маркушку к себе.

– Буду угощать тебя чаем с вареньем.

Через три дня Ольга Владимировна принесла Маркушке азбуку.

Он стал заниматься с необыкновенным усердием. Выкрикивал склады и на ялике и дома.

II

Наступили холода. Особенно холодны были ночи. Часто дули жестокие норд-осты.

Неприятельские батареи подвигались все ближе и ближе, и неприятельские траншеи были в очень близком расстоянии от наших.

Бомбардировка не прерывалась. Защитники умирали и от снарядов и от болезней… Говорили, что Меншикова сменят и на его место назначат Горчакова.

– Он поправит дело! – говорили многие севастопольцы, которым хотелось верить.

– Он разобьет французов и прогонит их домой… Не суйся!

Но пока Меншикова не сменяли, он не воспользовался скверным положением союзников во время холодов поздней осени. Подкрепления еще не прибыли, и войско неприятеля значительно уменьшилось благодаря болезням. Запасы, одежда и помещения их были едва ли лучше наших.

По словам перебежчиков, положение союзников в это время было такое же тяжкое, как и наше. Жили солдаты в палатках. Бараки еще не были устроены. Равнодушие союзных главнокомандующих к нуждам

армии, пожалуй, походило на равнодушие князя Меншикова.

«Если крушение армии, – писал корреспондент англичанин в „Times“, – честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт все уважения личной дружбы, официальной щекотливости и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, дарование, энергию и достоинство даже в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего все рушится. Итак, нет возможных причин и извинений против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочные воззрения. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона [55], но со стороны военного министра преступно позволять офицеру, хотя один день, браться за исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».

«В настоящую минуту, – писал другой английский корреспондент, – дождь идет как из ведра, небо черно

---

[55] Веллингтон Артур Уэлсли (1769-1852) – английский реакционный военный и государственный деятель. Английская буржуазная историография безосновательно приписывает ему блестящий талант полководца и политического деятеля.

как чернила, ветер воет над колеблющимися палатками, траншеи превратились в каналы, в палатках вода иногда стоит на целый фут, у наших солдат нет ни теплой, ни непромокаемой одежды, они проводят по двенадцати часов в траншеях, подвержены всем бедствиям зимней кампании; между тем нет, кажется, ни души, которая позаботилась бы об их удобствах, или даже о сохранении их жизни. Самый жалкий нищий, бродящий по лондонским улицам, ведет роскошную жизнь в сравнении с британскими солдатами, которые жертвуют здесь своею жизнью».

По словам историка «Севастопольской обороны», «с каждым днем лагерь союзников все более и более погружался в грязь; палатки не держались против ветра и дождей. Каждый помышлял о том, как бы выстроить себе пристанище и устроиться в нем удобнее. Но это удалось весьма немногим; большинство же вставало и ложилось посреди грязи, ила и сора и часто не просыпалось, потому что сырость и холод были нестерпимы».

Не имея теплой одежды и порядочного жилья, союзники к тому же терпели недостаток в пище и топливе. В течение многих дней они довольствовались корабельными сухарями, очень дурною водою и сушеным мясом, но последним в весьма малом количестве. «Исхудалые лица, небритые бороды, всевоз-

можные и всецветные одежды, покрытые недельною грязью, ежедневно возобновляемою, – таков наш вид, столь же жалкий, как и новый», – писал один французский офицер.

Французы не имели топлива и для согревания употребляли все, что только способно было гореть; корни деревьев, не исключая винограда, и все остатки исчезнувшей растительности шли на дрова, если только попадались под руку.

Снег для союзников был настоящим бедствием.

О бедственном положении союзников сообщали и перебежчики, но – главное – корреспонденты, бывшие при неприятельских армиях, и газеты – особенно английские – не стеснялись знакомить публику с правдой, как она ни была ужасна.

И князь Меншиков знал все это. И в Петербурге благодаря газетам знали об армии союзников едва ли не более, чем о нашей.

Если Меншиков, потерявший сражение при Евпатории, показал в донесении к государю убитых триста человек, тогда как в действительности их было семьсот семьдесят, то не мудрено, что подчиненные относились к правде еще бесцеремонней, тем более что в те времена она далеко не была удобной.

Союзники благословляли бездействие нашей армии осенью и зимой, благодаря чему они могли до-

ждаться подкреплений и весны.

– Наши главнокомандующие умны, – острили французы, – а русские еще умнее!

В Петербурге нетерпеливо ожидали известий о наступлении.

– Доложите князю Горчакову, – говорил князь Меншиков, отправляя в южную армию Столыпина, – что я не решаюсь атаковать неприятеля с нашею пехотою, которая получает в год только по два боевых патрона, и с кавалерией, которая после сражения при Полтаве [56] не сделала ни одной порядочной атаки.

Севастопольцы, не понимавшие поведения нашего главнокомандующего в эти два месяца, едко подсмеивались над ним и его штабом:

– Два месяца почти совершенное бездействие. По три раза в день набожно смотрят на термометр и молятся норд-осту!

Матросы, ожидая смерти на своих бастионах, повторяли «выдумку» одного товарища:

– Хотел, братцы мои, господь наказать за наши беззакония чумой. Однако показалось мало. Дай я вместо чумы накажу Севастополь Менщиком.

В это время Меншиков всякий намек на возмож-

---

[56] …с кавалерией, которая после сражения при Полтаве… – В 1709 г. в знаменитой Полтавской битве значительную роль сыграла конница, которой командовал А.Д.Меншиков.

ность атаки считал личным оскорблением и жаловался, что фельдмаршал Паскевич [57] чернит его в глазах государя.

[57] Паскевич Иван Федорович (1782-1856) – русский военный деятель, реакционер, приближенный Николая I.

ГЛАВА XII

I

В одно ноябрьское воскресенье погода была отчаянная.

Норд-ост дышал ледяным дыханием и крепчал. К концу дня он ревел.

Ревела и бухта.

Волны поднимались в каком-то бешенстве и яростно разбивались одна о другую. Седые гребни рассыпались алмазной пылью. Ее подхватывал ветер, и бушующая бухта была подернута точно мглой.

Нечего и говорить, что ялики не могли ходить. Яличники вытащили свои шлюпки на берег и разошлись по домам.

Бугай и Маркушка, оба в полушубках, с обмотанными шарфами шеями, все-таки очень зазябли на ледяном ветре. Особенно холодно было ногам. Они быстро направились домой и скоро вошли в свою маленькую комнату в домишке близ рынка, против Артиллерийской бухты. Домишко этот принадлежал солдатке Бондаренко, жене крепостного артиллериста, служившего на одном из приморских фортов.

В комнате было тепло. Солдатка догадалась вытопить печь. Сожители обогревались, испытывая физическое удовольствие тепла.

– Славно! – воскликнул Маркушка.

– То-то, брат, тепло!

«А на баксионах не тепло!» – подумал Бугай, но промолчал.

Скоро крепкая, приземистая чернявая солдатка, которую Бугай называл «Ивановной», принесла разогретый борщ и кусок баранины и, между прочим, рассказала, что утром совсем близко залетела шальная бомба и убила двух мальчиков.

Бугай выпил сегодня за ужином более своих обычных двух стаканчиков водки.

– Праздник и видишь, Маркушка, какая собака – погода! Так чтоб ног не ломило! – проговорил Бугай, словно бы считая нужным объяснить Маркушке свои соображения, заставившие его выпить полштоф. Поднес он два раза по стаканчику Ивановне.

– С праздником, Ивановна! И будьте здоровы! А борщ и барашек у вас, Ивановна, форменные. Настоящий хохлацкий борщ!

– На то я и хохлушка. С праздником!

После ужина напились чаю и зажгли сальную свечку.

Тогда Маркушка достал из-за пазухи свою довольно захватанную и грязную книжку, подсел к Бугаю и значительно произнес:

– Хотите послушать книжку, дяденька?

– Опять заскулишь рцы, мрцы… бра-вра? – промолвил старик, усмехаясь.

– Я по-настоящему, дяденька…

– Что ж… Попытай! – недоверчиво сказал Бугай.

Затягивая слоги и повторяя слова с серьезным видом напряженного и нахмуренного лица, словно бы одолевавшего необыкновенно трудные препятствия, читая по-книжному и несколько монотонно-торжественно, не меняя интонации, Маркушка читал крошечный рассказик о великодушном льве.

Бугай, казалось, не верил ушам.

Он пришел в восторженное изумление. Несомненно, Маркушка читал по книжке про льва. Маркушка являлся в глазах Бугая более необыкновенным мальчиком, чем лев, про которого так же напряженно слушал, как напряженно Маркушка читал.

Когда Маркушка наконец кончил и поднял глаза на старика, ожидая его приговора, Бугай глядел на мальчика точно на героя, свершившего нечто необыкновенное.

Словно бы еще не освободившийся от чар Маркуш-

ки и, пожалуй, отчасти и от чар полштофа, почти умиленный, Бугай в первую минуту, казалось, не находил слов.

И наконец воскликнул:

– Ну и башка. До чего дошел!

– И все можно понять, дяденька? – необыкновенно довольный, спросил Маркушка.

– Чего еще лучше?.. Слушать лестно.

– Так я, дяденька, непременно буду вам читать в книжку…

– Спасибо, мой умник… Но только не тяжело ли читать по книжке? Может, ушам больно или брюхо, что ли, болит? – участливо осведомился Бугай, заметивший, какие гримасы выделывал Маркушка при чтении.

Маркушка рассмеялся. Он сказал, что ничего не болит и будет читать дяденьке.

Бугай уж не сомневался, что такому башковатому мальчику предстоит большая перемена жизни. Только выучится еще писать да пойдет в обучение – так покажет!.. Хоть в генералы выйдет, ежели захочет по военной части.

Но пока Бугаю хотелось угостить будущего генерала «детским припасом», как называл старик все сладкое, и выпить еще стаканчик-другой по тому случаю, что Маркушка сам выучился понимать по книжке.

И Бугай надел полушубок и исчез.

Минут через десять он уже выложил перед Маркушкой горку миндальных пряников, а перед собой поставил полштоф водки и две рюмки, было убранные.

В ту же минуту вошла и Ивановна. Бугай ей поднес и спросил:

– Скажи, Ивановна, видала ты такого башковатого мальчишку, как Маркушка?..

Ивановна охотно ответила, что не видала.

И Бугай поднес ей другой стаканчик.

Скоро Маркушка прикончил пряники. И он и Бугай, оба довольные друг другом, нашли, что пора спать.

Прошла неделя, и сестра милосердия зашла проведать Маркушку.

Бугай тотчас же рассказал, что нынче Маркушка обученный и читает ему по книжке.

– Ну-ка, прочти милосердной.

Маркушка прочел. Сестра Ольга похвалила мальчика и обещала дать ему новую книжку, прописи и бумаги.

«Решительно, надо заняться Маркушей!» – думала она, взглядывая на мальчика, и, разумеется, и не думала, что скоро уж ей не придется никем и ничем заниматься.

Она видимо худела и покашливала. Заметили это Бугай и Маркушка, и оба советовали ей передохнуть.

– В свое место поехали бы, милосердная! – сказал Бугай.

– Где ваше место? – спросил Маркушка.

– Далеко, милый!.. И я никуда не поеду отсюда! – спокойно, решительно ответила она.

И прибавила:

– А разве, Маркуша, тебе кажется, что я так больна?

– Дюже похудали, милая барыня… Вроде как покойная мамка, когда хворь на нее напала.

– Я не больная… Я поправлюсь! – промолвила сестра и улыбнулась.

Но в этой ласковой улыбке было что-то бесконечно тоскливое.

II

Князь Меншиков болел. Испытывавший и нравственные и физические страдания, он большую часть времени лежал в постели, не мог заниматься делами и никого не принимал к себе.

Армия была без главнокомандующего.

Наконец в феврале Меншиков просил о немедленном увольнении его.

Не выждавши нового, он сдал в один день командование начальнику севастопольского гарнизона генералу барону Сакену [58] и уехал в Симферополь брать ванны.

Просьба Меншикова уже была предупреждена.

До получения ее император Николай, уже больной, за два дня до своей смерти, велел наследнику Александру Николаевичу написать своему любимцу об увольнении, ссылаясь на болезнь главнокомандующего, о которой он не раз доводил до сведения государя через разных лиц, приезжавших с донесениями князя.

Никакая награда не сопровождала любезного по

[58] Сакен (точнее Остен-Сакен) Дмитрий Ерофеевич (1790-1881) – во время обороны Севастополя был начальником гарнизона, трусливый и бездарный генерал.

форме рескрипта [59].

Одновременно по приказанию государя наследник написал князю М.Д.Горчакову о назначении его главнокомандующим крымской армии.

[59] Рескрипт – письмо царя к высокопоставленному лицу.

III

В первое время многие обрадовались новому главнокомандующему.

«Он привел с собой свежие войска, – писал один из участников войны, – обширную власть и неограниченные средства, а главное – поднял нравственный дух войск. Все надеялись, что он начнет смелые наступательные действия и сделает блистательный переворот кампании».

Ввел в такое заблуждение главнокомандующий.

Сам по характеру далеко не решительный, писавший военному министру, что край истощен и что продовольствие, одежда, госпитали и пути сообщения невозможны, князь Горчаков еще с самого приезда не верил в возможность успеха.

Но в приказе по армии, между прочим, писал:

«Самое трудное для вас время миновалось: пути восстановляются, подвозы всякого рода запасов идут безостановочно, и сильные подкрепления, к вам на помощь направленные, сближаются».

И приказ оканчивался упованием главнокомандующего на то, что «вскоре, с божией помощью, конечный успех увенчает наши усилия и что мы оправдаем ожидания нашего государя и России».

Прошел месяц, и радость так же скоро исчезла, как и явилась.

Подходили постепенно и подкрепления, но ежедневная потеря людей на бастионах была так велика, что надо было пополнять гарнизон. Горчаков просил больших подкреплений, но вначале получить их не мог. А неприятель усиливался. После взятия наших передовых редутов, обращенных неприятелем в свои, – бомбардировки наносили сильный вред бастионам, убивали массу защитников и уже обращали Севастополь в развалины.

Горчаков не раз подумывал оставить Севастополь, но не решался на этот поступок без разрешения, тем более что и по военным законам можно оставить крепость только по отбитии трех штурмов.

Император Александр Николаевич разрешил только в крайнем случае заключить капитуляцию, но ни в каком случае не соглашаться на сдачу гарнизона.

«Эта мера крайняя и которую я бы желал избегнуть», – прибавлял в рескрипте государь.

И Горчаков снова колебался.

– Видали вы подлость? – спросил однажды Нахимов у одного сослуживца.

Тот не понимал, о какой подлости говорил Нахимов.

– Видали ли вы подлость? Разве не видели, что готовят мост через бухту?

Нахимов не мог допустить мысли об оставлении Севастополя. Он не сомневался, что надо только умереть, защищая его.

Князь Горчаков, совершенно справедливо считавший свое положение отчаянным, тем не менее откладывал свою мысль оставить город, отбивавшийся уже девять месяцев. Он понимал, каким нареканиям подвергнется его репутация, если он оставит Севастополь, не отбив хотя одного штурма. Но в то же время сознавал, что, упорствуя в дальнейшей защите города, все равно обреченного, он потеряет и армию. Только «мир, чума или холера могут мне помочь», – писал он военному министру.

Но несколько позже, когда приближались подкрепления, князь Горчаков говорил [60]:

> «Я все еще не могу решиться оставить Севастополь. При настоящем положении дел, мне кажется, следует попытать счастие в отбитии штурма. Но если неприятель, вместо того чтобы штурмовать, возобновит ужасное и продолжительное бомбардирование, я буду вынужден отдать ему город, ибо он истолчет, как в ступке, не только настоящий гарнизон, но и всю армию. Предыдущее бомбардирование доказывает это. Пополнив необходимые потери новыми полками, я кончу тем, что город возьмут

[60] «История Севастопольской обороны», т. III, с. 244.

приступом, и тогда мне не с чем будет держаться в поле».

И Горчаков в своем донесении государю писал, что «не только нельзя надеяться на какой-либо успех, но даже можно опасаться больших неудач».

Но вскоре успех обнадежил защитников.

Первый штурм был отбит.

В числе защитников на четвертом бастионе был и Маркушка.

Зимой и весной он и не думал быть там. По-прежнему он был неразлучен со своим другом, пестуном и поклонником, вместе перевозил пассажиров, беседовал о войне, о новом главнокомандующем (и Бугай и Маркушка находили, что он в очках не имеет «надежного вида» и похож на филина), вместе коротали вечера в новой квартире на Северной стороне, после того как домишко солдатки был разрушен бомбой. И Маркушка читал Бугаю книжки и однажды даже поднес ему письмо.

Бугай не знал, что оно было написано довольно смелыми каракулями и со смелой орфографией, но рассматривал его с необыкновенным почтением и предрекал Маркушке «вытти в генералы». И совсем умилился, когда Маркушка прочитал ему:

«Дяденька Бугай. Я никогда не оставлю тебя!»

Но на второй же день пасхи, когда началась одна из адских бомбардировок, Бугай оставил Маркушку навсегда, убитый осколком около госпиталя в морском клубе, куда ходил справиться о «милосердной».

Там Маркушка увидал убитого Бугая и узнал, что «добрая барыня» на днях умерла.

Маркушка остался совсем одиноким.

ГЛАВА XIII

I

В этот день обезумевший от горя Маркушка не отходил от покойного Бугая.

Маркушка заглядывал в строго-вдумчивое мертвое лицо друга и пестуна и о чем-то шептал, что-то обещал ему. Он то плакал, то ругал «француза» и грозил ему. И тогда заплаканные глаза мальчика зажигались огоньком.

Маркушка видел, как Бугая отнесли на баркас, полный другими мертвецами. Он тоже сел на баркас и смотрел, как Бугая вместе с многими убитыми зарыли в братской могиле на Северной стороне, после короткого отпевания старым батюшкой.

После этого Маркушка с озлобленным и вызывающим лицом мальчика, принявшего, казалось, какое-то важное решение, пошел быстрыми шагами к пристани.

Тем временем несколько яличников – большей частью отставные матросы-старики – в ожидании пассажиров решали судьбу Маркушки, которого все любили и жалели.

Решили, что надо приютить и не обижать мальчонку, чтобы ему было так же хорошо, как и у Бугая. Недаром же Маркушка был привержен, как собачонка… Решили, что надо присмотреть и за имуществом Бугая, оставленным Маркушке.

– А вот и Маркушка! – воскликнул кто-то.

Но прежде чем объявить ему о своем решении, яличники накормили Маркушку, и затем уже седой как лунь старик, в шлюпке которого Маркушка пообедал тем, что надавали ему яличники, сказал:

– Никто как бог, Маркушка. А ты при нас останешься. В рулевых останешься!

– Не бойсь, никто не обидит.

– Всякий яличник возьмет такого рулевого!

– Дяденька! – начал было Маркушка.

Но седой как лунь яличник строго остановил Маркушку:

– Сперва слухай, что люди говорят! На то ты вроде корабельного юнги! После обскажешь, Маркушка!

И с разных сторон говорили Маркушке:

– За тебя богу ответим, Маркушка! Потому вовсе ты сирота!

– Не пропьем! – засмеялся кто-то из «дяденек», особенно склонный к пропиванию вещей, когда не было денег.

– Ялик твой вроде в ренду сдадим, за правильную

цену.

– Деньги твои сбережем.

– И Бугая вещи, которые тебе не нужны, продадим!

– А платье его носи на здоровье… Только укоротить маленько!

– А тебя, Маркушку, разыграем. Чтоб никому не было обидно!

– Набросаем в шапку по меченой уключине. Чью вытянешь – к тому и в подручные!

– Положим жалованье. Фатеру и харч… А водки не будет, Маркушка!

Когда все эти грубоватые и сочувственные слова смолкли, Маркушка взволнованно проговорил:

– Спасибо, добрые дяденьки!.. Но только не останусь в рулевых!

Слова Маркушки удивили старых яличников.

Несколько секунд длилось молчание.

И наконец раздались голоса:

– Уйдешь, значит, из Севастополя, Маркушка?

– Это ты надумал с рассудком, Маркушка!.. Недолга – здесь и убьют мальчонку!

Все обещали обрядить Маркушку как следует.

Ялик его продадут, и будет сирота с карбованцами. Карбованцы обменяют на бумажки, зашьют в тряпицу и повесят на грудь, а на руки на рубль мелких денег дадут. И парусинную котомку справят. И сапоги купят.

– Одним словом, хоть до самого Петербурга иди, Маркушка!

Однако все советовали так далеко не ходить, чтоб быть ближе к Севастополю.

И многие посылали в Симферополь, Перекоп и Бериславль. У одного жил брат при месте; у другого сестра замужем за лавочником; у третьего внук в кучерах. Все охотно помогут такому башковатому мальчонке поступить на место.

Не желая обижать «дедушку» – того самого старика, который уж раз остановил Маркушку, – мальчик нетерпеливо слушал и, когда яличники замолчали, обиженно и негодующе воскликнул:

– Из Севастополя не уйду…

Все посмотрели на Маркушку.

– Куда ж ты денешься, Маркушка? – спросил «дедушка».

– На баксион пойду!

– Убьют там тебя, чертенка!

– И пусть! Зато и я француза убью…

– Пальцем, что ли?

– Не бойсь, найду чем…

Напрасно яличники и отсоветовали и подсмеивались над Маркушкой.

Он решительно сказал, что пойдет на «баксион».

– Так и пустят мальчонку на расстрел!

– Пустят! Один мальчик из мортирки на баксионе во французов палит. И есть мальчики, которые защищают Севастополь! [61] Я за тятьку и дяденьку Бугая, может, десять французов убью! – прибавил возбужденно Маркушка, сверкая глазами.

– Обезумел ты, Маркушка! – протянул «дедушка». – Если, бог даст, жив сегодня останешься и одумаешься на баксионе, – вечером же вали ко мне, Маркушка! Я на Николаевской батарее.

Маркушка молчал.

Он не сомневался, что не придет к «дедушке».

Маркушка, еще не переживший остроты горя, не забыл, что обезумев при виде убитого Бугая, дал покойнику слово отомстить за него и за отца проклятому «французу», который убивает столько людей.

Подходили пассажиры. Несколько человек село в шлюпку «дедушки».

Маркушка по привычке сел на руль. «Дедушка» перекрестился, поплевал на мозолистые ладони и загреб.

День был прелестный. Тепло и мертвый штиль. Солнце не жарило. Стояла чудная крымская весна.

---

[61] И есть мальчики, которые защищают Севастополь! – В Севастопольской обороне активное участие принимали и дети, участвуя не только во вспомогательных работах, но и непосредственно в боевых действиях. Известны имена юных героев – Николая Пищенко, Кузьмы Горбаньева, Максима Рыбальченко и других.

– Спаси тебя господь, отчаянного, – строго и вдумчиво протянул «дедушка», когда шлюпка пристала к Севастополю.

С этими словами яличник перекрестился и перекрестил Маркушку, словно бы благословлял этого отчаянного мальчика на глупый поступок, который все-таки тронул старика.

И, пожимая руку мальчика, прибавил:

– Мне вот пора умирать, а тебе, дураку, надо жить!.. Оставайся. Все равно скоро Севастополю конец!

II

Маркушка побежал по улицам Севастополя, мимо домов, пронизанных ядрами, с заколоченными окнами. Чем дальше шел Маркушка, тем более было пустых, разрушенных домов и развалин.

Улицы были пусты. Только, прижимаясь к стенам, проходили солдаты. Часто встречались носилки с ранеными. Изредка пробирались бабы, направляясь на бастионы к мужьям. Палисадники зеленели, и акации расцветали. Природа радовалась, ликовала весна. Но люди были сосредоточенней и сердитей по мере приближения к оборонительной линии.

Вот и театр в развалинах и за ним прежний бульвар с свежей зеленью немногих оставшихся деревьев. Зеленели уцелевшие кустарники, поднималась роскошная трава.

Здесь же, как пчелки, повизгивали тысячи пуль и шлепались на землю. Свистели ядра и разрывались бомбы. Никого не было видно. Все, шедшие на бастионы, шли траншейками, вившимися зигзагами вокруг. Но Маркушка не знал или забыл их и летел как стрела прямиком по «Грибку», испуганный и в то же время обрадованный, что бежит на четвертый бастион и убьет француза.

Маркушка, казалось, и не понимал, какой опасности подвергался он, и в возбужденной голове его проносились мысли и о том, как он «победит» француза, и о том, что он совершит какой-нибудь подвиг и ему дадут георгиевский крест. И он вдруг замирал от страха и прилегал на землю, жмуря глаза и повторяя «Отче наш», единственную молитву, которую знал, когда бомба вертелась, шипя горевшей трубкой, почти рядом с ним.

И снова вскакивал, и летел, и, наконец, задыхавшийся прибежал на четвертый бастион.

Там стоял рев от выстрелов и все было застлано дымом. То и дело откатывались и заряжались орудия. На бастион сыпались ядра и пули. Молча стояли у орудий матросы. Раздавались стоны раненых. И их куда-то уносили.

Маркушка решительно не мог сообразить положения бастиона. Он только видел изрытую землю, осыпавшиеся брустверы и почерневших от дыма людей, наполнявших площадку за насыпью. Никто не обратил внимания на Маркушку.

В это самое время четвертый бастион с особенной силой отбивался от новой французской батареи, громившей бастион.

На людях Маркушка забыл страх. Он точно опьянел. Точно какая-то волна прилила к сердцу, и он бросился к сложенным пирамидкой ядрам и стал подавать их зарядчику. Вдруг около орудия упала бомба. Все прилегли. Маркушка внезапно вырвал горевшую трубку, бросил ее за банкет и подбежал к орудию, у которого подавал снаряды.

– Ай да мальчишка!

– Молодца!

– Ничего не боится…

– И вовсе маленький!

Эти восклицания матросов не заставили Маркушку

возгордиться собой.

Он был слишком возбужден воинственным настроением, полным чего-то злого и жестокого, напоминающего зверька, озлобленного на охотника, и, разумеется, и не думал, что свершил подвиг, рискуя жизнью.

Свидетелем этого подвига был начальник бастиона, Николай Николаевич Бельцов, пожилой моряк в солдатской шинели с штаб-офицерскими погонами и с георгиевской ленточкой в петлице. Он всю осаду пробыл на бастионе, каким-то чудом еще уцелевший. На легкую рану в руку пулей навылет, полученную еще в начале осады, он не обращал внимания и после перевязки возвратился опять «домой», как называл он свой бастион.

Его заросшее темными волосами темное лицо, под нависшими бровями с темными глазами, казалось суровым. Несколько сутуловатый, он хладнокровно и спокойно взглядывал в подзорную трубу на неприятельские батареи и только нервно пожимал плечами, когда наши снаряды ложились неправильно, то есть не несли смерти неприятелю. И тогда он сам поверял наводку.

– Ты зачем здесь, мальчик? – окрикнул моряк.

Маркушка подумал, что этот суровый человек, с длинной бородой, сейчас же прогонит его с бастиона и Маркушке не придется пристрелить француза.

Маркушка струсил.

И виновато и смущенно ответил:

– Прибежал из города.

– Ты кто?

– Сирота… Отца Игната Ткаченко здесь же убили… И яличника Бугая убили… Дозвольте остаться, ваше-скобродие, – упрашивал мальчик.

– Приди после ко мне.

К вечеру французские батареи смолкли. Смолк и четвертый бастион. Многих защитников недосчитывались.

Матросы отошли от орудий и могли отдохнуть. Солдаты и рабочие стали исправлять повреждения бастиона, чтобы к раннему утру бастион снова мог отвечать неприятелю.

Матросы поужинали, и у многих блиндажей появились самовары и котелки. За чаем шли разговоры. Точно разговаривали люди, не готовые завтра же расстаться с жизнью.

Маркушка был обласкан. Все наперерыв угощали мальчика и расспрашивали, кто он и зачем пришел. На бастионе еще остался один оставшийся в живых матрос, товарищ отца Маркушки, и поэтому он считал себя имевшим больше всего прав на мальчика.

И небольшого роста пожилой матрос Кащук сказал ему:

– Ты, Маркушка, при моей орудии будешь… И со мной ешь. И слухай меня. Не высовывайся зря – убьют!..

– Все равно убьют! – сказал кто-то.

– А ты не каркай! – сердито сказал пожилой матрос. – Убьют так убьют, а смерть не накликай зря…

– К батарейному, Маркушка! – проговорил вестовой батарейного командира.

Маркушка испуганно проговорил Кащуку:

– Он приказывал прийти к нему, а я забыл.

– Не бойся батарейного, Маркушка… Он только с виду страшный, а сам добер. Он и больших не обижает, а не то что мальчонка. Беги к батарейному.

– Валим в блиндаж!

Вестовой велел Маркушке спускаться за ним по крутой лестнице у двери на площадке бастиона.

Маркушка вошел в крошечную комнату, где стояли кровать, маленький столик и табуретка. Ковер был прибит к стене, около кровати, и на нем висел сделанный арестантом масляный портрет мальчика-подростка, единственного сына Николая Николаевича, месяц тому назад погибшего от скарлатины в Бериславле, куда мальчик был отправлен отцом к своей сестре.

Николай Николаевич давно вдовел; после смерти сына он остался совсем одиноким. Обыкновенно мол-

чаливый, он стал еще молчаливее и спасался от тоски заботами о бастионе, который привык считать своим хозяйством, и смотрел за ним с необыкновенною любовью.

Он давно уже сделал распоряжение на случай смерти, о которой не думал. После девяти месяцев на четвертом бастионе, где на глазах Николая Николаевича было столько убито и смертельно ранено людей, – он смотрел на нее как на что-то неизбежное и нестрашное. Если еще жив, то завтра – ядро или пуля вычеркнет его из живых.

И, любимец Нахимова, такой же скромный и неустрашимый человек, Николай Николаевич повторял слова адмирала:

– Или отстоим, или умрем!

Скопленные моряком две тысячи он давно завещал раненым матросам с фрегата «Коварный», которым командовал пять лет и на котором не особенно муштровал людей в те времена, когда жестокость была в моде.

В своем блиндажике Николай Николаевич жил девять месяцев, и, когда предложили ему «отдохнуть» и перебраться на Северную сторону, он ответил, что не устал, и остался, как он говорил, «дома».

После того как командир бастиона обошел батарею и указал, что надо исправить, он сидел за ма-

леньким столиком и, отхлебывая маленькими глотками чай, попыхивал дымом из толстой, скрученной им самим папироски.

У себя он был задумчив и серьезен. Что-то грустное было в выражении его широковатого, серьезного лица, заросшего темными волосами, и особенно отражалось в глазах, когда Николай Николаевич взглядывал на ковер, с которого глядел на него портрет.

Еще было совсем светло.

Свет яркого, догорающего дня проходил в подземелье сквозь четырехугольное отверстие, проделанное в стене. Оно было закрыто не рамой, а кисейной занавеской.

– Как тебя звать? – спросил Николай Николаевич.

– Маркушкой, вашескобродие.

– А меня зовут Николаем Николаевичем. Так и зови!

– Слушаю.

– Кормили?

– Кормили, Николай Николаич.

– Сыт?

– Очень даже сыт.

– Так рассказывай, где жил и зачем сюда пришел?

Маркушка рассказал о том, что с ним было со времени осады. Рассказал о том, как приютил Бугай, какой он был добрый к нему.

– Сегодня его убило бомбой… Я видел, как его схо-

ронили. И прибежал сюда… Дозвольте остаться, Николай Николаич.

– А если не оставлю?

– На другой баксион уйду, Николай Николаич.

– Разве не видел, что здесь?

– Дозвольте остаться, Николай Николаич! – повторил Маркушка.

– Оставайся… Бог с тобой…

– Премного вам благодарен, Николай Николаич, – радостно сказал мальчик. – Я при дяденьке Кащуке… Он отца знал…

– И я знал твоего отца… хороший был матрос… Но ты молодец… Не побоялся броситься к бомбе и вырвать трубку… За твой подвиг получишь медаль на георгиевской ленте. Я скажу Павлу Степановичу…

И Николай Николаевич ласково потрепал по щеке Маркушку.

Он вспыхнул от радостного, горделивого чувства.

И с ребячьим восторгом спросил:

– И можно будет ее носить?

– А то как же? Наденешь на рубашку и носи… А я велю тебе сшить и рубашку и штаны… Будешь маленьким матросиком.

Николай Николаевич смотрел на мальчика, и лицо батарейного командира далеко не казалось теперь суровым.

Напротив, оно было необыкновенно ласковое и грустное. Особенно были грустны его глаза.

И в словах батарейного командира звучала безнадежно тоскливая нота, когда он спросил:

– Тебе сколько лет, Маркушка?

– Двенадцатый.

«И Коле был двенадцатый!» – вспомнил он.

Николай Николаевич не хотел отпускать этого быстроглазого мальчика, напоминавшего осиротевшему отцу его мальчика.

И он спрашивал:

– Так ты, говоришь, рулевым был?

– Точно так.

– И, говоришь, выучился читать?

– И маленько писать… Милосердная показывала…

– Молодец, Маркушка…

И Николай Николаевич опять потрепал Маркушку и призадумался.

– Ну что ж… будь защитником… На батарее Шварца есть один такой же мальчик. Из мортирки стреляет… И бог его спасает…

– Дозвольте и мне стрелять, Николай Николаич!..

– Ишь какой… Прежде выучись…

– Я выучусь… Только дозвольте попробовать.

Батарейный командир разрешил попробовать завтра и отпустил Маркушку, испытывая к мальчику

необыкновенную нежность.

На следующее утро Нахимов, по обыкновению объезжавший оборонительную линию, вошел на четвертый бастион.

Все видимо обрадовались адмиралу.

Он сказал батарейному командиру, что неприятель обратил все свое внимание на Малахов курган и на третий бастион…

– А главное, передовые люнеты [62] хотят взять… штурмом-с… Прежде хотели через четвертый бастион взять Севастополь… А теперь стали умнее-с… У вас будет меньше бойни, Николай Николаевич. Вчера вы ловко взорвали у них погреб и сбили новую батарею…

И Нахимов стал обходить орудия и похваливал матросов.

– А это что за новый у вас, Николай Николаевич, комендор-с? – спросил, добродушно улыбаясь, Нахимов, указывая на Маркушку, который под наблюдением Кащука наводил маленькую мортирку.

Батарейный командир доложил адмиралу о Маркушке, об его вчерашнем подвиге и об его настоятельной просьбе попробовать стрелять из мортирки.

Нахимов выслушал и, видимо взволнованный, проговорил:

---

[62] Люнет – открытое с тыла полевое укрепление.

– Нынче и дети герои-с.

И, подойдя к Маркушке, сказал:

– Слышал… Молодчина, мальчик… Завтра принесу медаль… Заслужил… Пальни-ка!

Маркушка выстрелил.

– Он понятливый, Павел Степанович! – доложил его «дяденька».

– То-то… матросский сын… А где я тебя видел, Маркушка?

Маркушка сказал, что приносил Нахимову записку в день Альминского сражения.

– Рулевым был на ялике…

– Точно так, Павел Степанович, – ответил Маркушка и сиял, полный горделивого чувства от похвал Нахимова.

– Поберегай Маркушку, Кащук, – промолвил адмирал и пошел с бастиона.

Через неделю Маркушка был общим любимцем на бастионе.

Он отлично стрелял из мортирки и злорадно радовался, когда бомба падала на неприятельскую батарею.

Казалось, злое чувство к неприятелю совсем охватило мальчика. Он забыл все, что говорили ему про жестокость и ужас войны и молодой офицер, и сестра милосердия, и Бугай… Он делал то, что делали все,

и гордился, что и он, мальчик, убивает людей… И как это легко.

И в то время никакой внутренний голос не шептал ему:

«Что ты делаешь, Маркушка? Опомнись!»

ГЛАВА XIV

I

Стояло чудное майское утро, когда началась адская бомбардировка против передовых редутов, Малахова кургана и третьего бастиона.

Неприятель хотел снести Камчатский, Селенгинский и Волынский люнеты.

Семьдесят три орудия были сосредоточены против них, и союзники забрасывали эти дорогие для них передовые укрепления, мешавшие неприятелю подступить к Малахову кургану и всей Корабельной стороне.

На батареях люнетов было от шестидесяти до девяноста зарядов на орудие, а союзники заготовили от пятисот до шестисот зарядов на каждое орудие.

«Не отвечая на выстрелы наших батарей, французы сыпали свои снаряды в передовые укрепления, положив срыть их с лица земли, – пишет историк Севастопольской обороны. – Дым от выстрелов покрывал собою все батареи, горы, здания и сливался в один непроницаемый туман, изредка прорезываемый сверкавшими огоньками, вырывавшимися из дул орудий. Перекатной дробью звучали выстрелы, один за

другим сыпались снаряды, фонтаном подымая землю». «Тучи чугуна врывались в амбразуры, врезывались в мерлоны [63], срывая и засыпая их. В редуты падало сразу по десяти и пятнадцати бомб».

Ночью летели бомбы.

На следующее утро Камчатский люнет представлял из себя груды развалин.

С рассветом бомбардировка возобновилась по всей левой половине нашей оборонительной линии, направляя самые частые выстрелы на Малахов курган и на наши три передовых редута.

В три часа пополудни была начата жестокая бомбардировка и против правой стороны оборонительной линии.

В шесть часов у неприятеля взвились сигнальные ракеты, и французы пошли на штурм трех редутов.

Разумеется, сорок тысяч штурмующих колонн легко смяли незначительное количество наших войск. Охрана таких важных укреплений была слишком незначительна. Вдобавок один генерал приказал войска прикрытия, бывшие в его распоряжении, отвести подальше именно в день штурма, а войска не могли поспеть вовремя навстречу штурмующим.

По словам историка обороны, в Севастополе имели основание говорить, что редуты наши проданы

---

[63] Мерлон – толща бруствера между двумя амбразурами.

неприятелю.

«Начальник Малахова кургана, капитан первого ранга Юрковский, просил генерала Жабокритского [64] собрать войска, поставить на позицию и усилить гарнизон передовых редутов, но тот, не отвечая прямо отказом, не делал, однако, никаких распоряжений. Когда же после полудня было получено от перебежчиков известие, что неприятель намерен штурмовать три передовые укрепления, то генерал Жабокритский тотчас же сказался больным и, вместо того чтобы принять меры и усилить войска, он, не дождавшись себе преемника, уехал на Северную сторону. Назначенный вместо генерала Жабокритского начальником войск Корабельной стороны генерал Хрулев прибыл на место только за несколько минут до штурма. Он не успел сделать ни одного распоряжения, как неприятель двинулся в атаку и овладел редутами».

На «Камчатке», как звали Камчатский люнет, чуть было не захватили в плен Нахимова.

Он, разумеется, послал и на разрушенный редут, откуда все еще слабо отстреливались, уцелевшие орудия, как вдруг послышалось: «Штурм!»

Нахимов увидел, что французская бригада прибли-

---

[64] Жабокритский Осип Петрович (1793-1866) – генерал. Поляк по национальности, Жабокритский не сочувствовал войне с французами и был равнодушен к делу обороны Севастополя.

жалась к Камчатке, и приказал бить тревогу… Резерв наш на Корабельной стороне бросился на тревогу. Но едва из орудий сделали один выстрел картечью, как французы уже были в редуте.

Там было несколько десятков матросов при орудиях и триста пятьдесят солдат.

Офицеры были перебиты. Забирая в плен наших солдат, французы схватили адмирала, который, по обыкновению, был в эполетах и с Георгием за Синоп на шее.

Но матросы и солдаты успели выручить адмирала и отступить к Малахову кургану.

Несколько попыток отбить назад редуты оказались напрасными.

По словам одного севастопольца, потеря передовых редутов подействовала хуже предсмертных известий.

Все громко говорили, что потеря редутов – не по вине солдат, а по дурной охране их и благодаря более чем странному распоряжению генерала Жабокритского.

Наши редуты принадлежали теперь неприятелю, и оттуда с близкого расстояния они громили Малахов курган. Вся Корабельная сторона была в развалинах. В Севастополе не было больше места, куда бы не долетали снаряды. Пули летели мириадами в амбразу-

ры и наносили жестокие потери. Они свистали теперь там, где прежде не было слышно их свиста.

И матросы и солдаты жаловались, что начальство так близко подпустило неприятеля и «проморгало» передовые редуты…

После двух дней жесточайшей бомбардировки все госпитали и перевязочные пункты были переполнены…

Главнокомандующий был в самом унылом настроении и хотел оставить Севастополь.

– Хоть бы чем-нибудь кончилось! – говорили в Севастополе, и, разумеется, шли нарекания на бездействие и нерешительность князя Горчакова, не рисковавшего на сражение в поле.

«Только богу молится, а в Севастополе бойня!» – говорили многие и желали штурма.

И через несколько дней севастопольцы дождались штурма.

II

Чтобы подготовить успех штурма, неприятель решил накануне жестоко бомбардировать – то есть засыпать наши бастионы, город и войска снарядами из своих пятисот восьмидесяти семи орудий осадных батарей.

Нечего и говорить, что орудия союзников имели большое преимущество перед нашими. Неприятель мог сосредоточивать огонь на каком угодно пункте оборонительной нашей линии, а наши бастионы поневоле должны были рассеивать свои выстрелы на большое расстояние. Часто наши десять орудий какой-нибудь батареи должны были отвечать на выстрелы пятидесяти орудий, сосредоточенных против нее.

Кроме того, неприятель имел вдосталь пороха и снарядов.

У нас не было пороха в достаточном количестве, и начальство отдало строгое приказание: не делать выстрелов более определенного им числа.

Доставка такой первой потребности для войны, как порох, с самого начала осады озабочивала сперва князя Меншикова и потом князя Горчакова. Бывали дни, когда в Севастополе оставалось пороха только на пять дней.

Мы, дома, не могли своевременно и достаточно получить пороха, тогда как «гости» – союзники – получали издалека морем все, что было нужно.

На каждое орудие неприятеля полагалось от четырехсот до пятисот зарядов в день.

Самое большое количество зарядов на орудие на наших бастионах и батареях не превышало ста семидесяти. Да и тратить их могли только те орудия, которые должны были особенно энергично стрелять во время усиленных бомбардировок и при штурме. Остальные орудия имели по семьдесят, шестьдесят и тридцать и даже по пяти зарядов на орудие.

За несколько дней до первого штурма Севастополя с наших «секретов», то есть с далеко выдвинутых к неприятельским батареям сторожевых постов, на которых ночные часовые, преимущественно пластуны, притаившись к земле, в ямах или за камнями, высматривали, что делается у неприятеля, – с «секретов» доносили, что к неприятельским батареям каждую ночь подвозят новые орудия и снаряды.

Перебежчики сообщали, что союзники стягивают свои войска к Севастополю и уже собрано сто семьдесят тысяч, чтобы штурмовать левый фланг нашей обороны – второй, третий бастионы и Малахов курган.

Начальник штаба, которого севастопольцы прозвали за его немецкий формализм и страсть к перепис-

ке «бумажным генералом» и «старшим писарем», низенький, прилизанный, не считавший себя вправе даже выразить какое-нибудь свое мнение, – докладывал главнокомандующему [65] о словах перебежчиков и донесениях с «секретов». Князь Горчаков велел усилить оборону нашего левого фланга. И без того удрученный своим положением, он стал еще подавленнее, ожидая, что штурм заставит сдать город и, пожалуй, армию, чтобы спасти ее от уничтожения…

– Все в божией воле, дорогой мой генерал! – по обыкновению по-французски, тоскливо промолвил главнокомандующий, словно бы отвечая себе на свои тяжелые думы о Севастополе.

– Точно так, князь! – отвечал начальник штаба, стараясь, по обыкновению, быть эхом главнокомандующего.

– А в Петербурге советуют дать сражение неприятелю. Разве не сумасшествие?.. Неприятель гораздо сильнее, и позиция его неприступная.

– Точно так, князь.

– А отобьем ли штурм? На господа только надежда.

– Никто как бог, князь!

Так поддакивал начальник штаба. Потом он так же

[65] Начальник штаба… докладывал главнокомандующему… – Начальником штаба Южной, Дунайской, армии был генерал Коцебу Павел Евстафьевич (1801-1884), человек крайне нерешительный и бездарный.

поддакивал князю, когда, под влиянием присланного из Петербурга генерала барона Вревского, главнокомандующий не считал сумасшествием дать сражение.

«При всех своих прекрасных качествах князь Горчаков, – говорит историк Севастопольской обороны, – не имел твердости довести начатое дело до конца. Придавая часто большее значение мелочным и неважным известиям, он поминутно менял свои предположения и не решался привести их в исполнение. Советуя другим брать больше на себя, быть решительными и не падать духом, князь Горчаков сам терялся при первой неудаче и даже при одних слухах, неблагоприятных для задуманного им предприятия. Как бы сомнительны ни были эти слухи, князь колебался в своих распоряжениях и только при постороннем влиянии, которому поддавался весьма легко, при энергическом настаивании он в состоянии был рассеять свои ложные опасения. К сожалению, человек, легко подчиняющийся влиянию посторонних лиц, в большинстве случаев лишен самостоятельности, не имеет определенного направления и характера действия. Весьма часто такие лица следуют или более решительному настоянию, или последнему мнению. Если до истечения июня и половины июля князь Горчаков покинул мысль об оставлении Севастополя и даже мечтал о

возможности наступательных действий, то он обязан был тем генерал-адъютанту Вревскому».

III

На рассвете чудного июньского утра, дышавшего прохладой, в французских траншеях прозвучали трубы. Эти звуки не то призыва, не то молитвы были мгновенно подхвачены на английских батареях.

Как только трубы смолкли, раздался залп со всех пятисот восьмидесяти семи орудий неприятеля. Началась четвертая, усиленная общая бомбардировка Севастополя.

«После нескольких минут стрельбы, – сообщает один очевидец, – над Севастополем стоял густой, непроницаемый мрак дыма. Сильного звука выстрелов уже не было слышно; все слилось в один оглушающий треск. Воздух был до того сгущен, что становилось трудно дышать. Испуганные птицы метались в разбитые окна домов, под крышами которых искали спасения».

Французы продолжали стрелять залпами.

Взошло солнце. Легкий ветер рассеял дым. Стрельба стала ожесточеннее. Особенно сильно обстреливались Малахов курган, первый, второй, третий бастионы и левая половина четвертого. Корабельная сторона была в развалинах.

В городе не было безопасного места. Долетали сна-

ряды и до Северной стороны.

«Бастионы и батареи, в особенности левого фланга, были засыпаемы бомбами и ядрами. Мешки с брустверов, щиты из амбразур, камни, фашины, человеческие члены, – все летело в каком-то хаосе. Летавшие друг другу навстречу снаряды сталкивались и разбивались на полете. Пролетая в город, они сбивали остатки каменных фундаментов, поднимали страшную пыль и несли за собою массу каменьев, которые били людей, как пули, или царапали лицо, как иголками» [66].

Бомбардировка продолжалась до поздней ночи.

С рассвета до утра наши бастионы отвечали частыми выстрелами и выпустили столько снарядов, что приказано было уменьшить огонь и стрелять как можно реже, ввиду того что у нас пороха было мало и ожидали штурма.

И неприятель стал еще чаще осыпать бастионы и Севастополь.

После полудня особенно сильно бомбардировали бастионы правого фланга (четвертый, пятый и шестой бастионы с промежуточными бастионами), защищающие городскую сторону.

«В воздухе раздавался какой-то нестройный гул, визг и шипенье», – сообщает один участник. Другой

[66] «История Севастопольской обороны», т. III, с. 249. (Примеч. автора.)

записывает, что «потрясают душу эти ужасные звуки, этот грозный рев беспрестанно падающих и беспрестанно разрывающихся снарядов».

Настал вечер.

Бомбардировка не прекращалась.

Несколько изменился только способ ее. Неприятель ослабил прицельный огонь и усилил навесный из осадных мортир – самый разрушительный. И бомбы, выбрасываемые массами, разрушали бастионы, уничтожали севастопольские дома и убивали множество защитников…

К ночи бомбардировка усилилась.

Десять неприятельских паровых судов подошли к севастопольскому большому рейду в одиннадцать часов вечера и, в помощь своим осадным батареям, стали бросать бомбы на наши прибрежные батареи и вдоль рейда по нашим кораблям.

Союзники, казалось, хотели показать весь ужас бомбардировки.

Им отвечали только прибрежные наши батареи. Бастионы, осыпаемые бомбами, молчали и старались исправлять повреждения, приготовляясь к штурму.

Бомбардировка продолжалась. Ракеты, начиненные горючим составом, производили в городе пожары, но их не тушили, люди нужны были на более важное – и пожары сами собой затухали.

Эта ночная бомбардировка с пятого на шестое июня, по словам одного очевидца, «была адским фейерверком, и ничего прекраснее не мог бы изобрести и представить на потеху аду сам торжествующий сатана».

В два часа ночи бомбардировка окончилась.

Наши бастионы торопились наскоро исправить свои повреждения и – главное – заменить попорченные орудия.

«Наиболее других пострадали Малахов курган, второй и третий бастионы; почти половина амбразур была завалена; многие орудия подбиты; блиндажи разрушены; пороховые погреба взорваны. Левый фланг третьего бастиона был так разбит, что бруствер в некоторых местах не закрывал головы. Наскоро воздвигнутые траверсы [67] обрушились, и большая часть орудийной прислуги была переранена. На бастионах кровь лилась рекою; для раненых не хватало носилок, и к полудню на одном третьем бастионе выбыло из строя шестьсот восемьдесят человек артиллерийской прислуги (матросов) и триста человек прикрытия (солдат)».

«В течение дня на перевязочные пункты было доставлено тысяча шестьсот человек раненых, не счи-

[67] Траверс – насыпь, которая предназначена прикрывать укрепления с фланга и тыла.

тая убитых. Последних складывали прямо на баркасы и отвозили на Северную сторону города» [68].

За эту бомбардировку вышли «в расход», как говорили в Севастополе, около пяти тысяч защитников.

Еще не замолкла канонада, как в «секрете» заметили, что в овраге, перед первым бастионом, собираются значительные силы.

Молодой поручик сообщил об этом командующему войсками прикрытия оборонительной линии.

У нас пробили тревогу. Барабаны подхватили ее по всему левому флангу оборонительной линии, и войска наши двинулись по местам, на бастионы и вблизи их. Резерв оставался в Корабельной слободке.

– Штурм… штурм! – разнеслось по бастионам. Орудия заряжались картечью. На вышке Малахова кургана заблестел белый огонь, фальшвейер – предвестник начинающегося штурма.

Был третий час предрассветной полумглы. Осадные орудия вдруг смолкли.

Наступила на минуту зловещая тишина.

---

[68] «История Севастопольской обороны», т. III, с. 251. (Примеч. автора.).

IV

Старый французский генерал, начальник колонны, назначенный штурмовать первый и второй бастионы, почему-то не выждал условленного сигнала к штурму.

Ему казалось, что внезапное прекращение бомбардировки и есть сигнал начинать штурм. Напрасно его начальник говорил, что он ошибается, что сигналом будет сноп ракет после белого света фальшвейера с одной батареи. Напрасно доказывал, что начинать атаку рано. Остальные колонны еще не строятся.

Старый генерал, как видно, был упрям и не любил советов.

Он приказал идти на приступ.

И из-за оврага показалась густая цепь стрелков. Сзади шли резервы. Через несколько минут французы бешено бросились на штурм двух бастионов.

Их встретили ружейным огнем и картечью. Все наши пароходы стали бросать снаряды в резервы и в штурмовую колонну…

Жаркий огонь расстроил французов.

Шагах в тридцати от второго бастиона они остановились и рассыпались за камнями. Еще раз они бросились в атаку, но снова не выдержали огня и отступили… Начальник колонны был смертельно ранен.

В это время блеснула струя белого света; за нею поднялся целый сноп сигнальных ракет, рассыпавшихся разноцветными огнями.

Для союзников это значило: «Штурмовать остальные укрепления Корабельной стороны».

А для севастопольцев: «Возьмет неприятель бастионы – взят и Севастополь».

Молчаливые и серьезные, ждали защитники штурма.

И многие шептали:

– Помоги, господи!

Главнокомандующий со своим большим штабом уже переправился с Северной стороны в город и с плоской крыши морской библиотеки смотрел на зеленеющее пространство перед Малаховым курганом, по которому беглым шагом шел неприятель…

Хотя князь Горчаков уже знал, что несвоевременный штурм одной французской колонны был отбит в полчаса, но напрасно он старался скрыть свое волнение перед развязкой нового общего штурма укреплений Корабельной стороны.

И вздрагивающие губы главнокомандующего, казалось, шептали:

– Спаси, господи!

Начальник штаба чуть слышно сказал начальнику артиллерии армии:

– Главное… отступить некуда. Мост через бухту не готов!

– Что вы говорите? – рассеянно спросил подавленный главнокомандующий.

– Чудное, говорю, утро, ваше сиятельство!

– Да… Посланы еще три полка в город?..

– Посланы, князь!..

На Северной стороне толпа баб стояла на коленях и молила о победе…

Мужчины, не принимавшие участия в защите, истово крестились. Матросы, бывшие на кораблях, высыпали на палубы.

Все с тревогой ждали штурма.

А Маркушка, черный от дыма и грязи, накануне так добросовестно паливший из своей мортирки, что, увлеченный, казалось, не обращал внимания на тучи бомб, ядер и пуль, перебивших более половины людей на четвертом бастионе, и на лившуюся кровь, и на стоны, – Маркушка и не думал, что надвигающаяся «саранча», как звал он неприятеля, через несколько минут ворвется в бастион и всему конец.

Напротив!

Возбужденный и почти не спавший в эту ночь, он сверкал глазами, напоминающими волчонка, глядя на «саранчу», высыпавшую из траншей, и хвастливо крикнул:

– Мы тебя, разбойника, угостим! Угостим!

– С банкета долой! – крикнул Кащук.

Контуженный вчера камнем, он сам вчера перевязал свою окровавленную голову и стоял у орудия, заряженного картечью, со шнуром в руке, спокойный и хмурый, ожидая команды стрелять.

– Я только на саранчу взгляну, дяденька!

– На место! – строго крикнул Кащук.

Маркушка спрыгнул с банкета к своей мортирке.

– Не бреши… Лоб перекрести. Еще кто кого угостит! – сердито промолвил матрос.

– Увидишь, дяденька! – дерзко, уверенно и словно пророчески, весь загораясь, ответил Маркушка.

– Картечь! Стреляй! Жарь их! – раздалась команда батарейного командира.

Бастион загрохотал.

V

Ослепительное солнце тихо выплывало из-за пурпурового горизонта, когда густые цепи французов, с охотниками впереди, имеющими лестницы, вышли из траншей и пошли на приступ Малахова кургана, второго бастиона и промежуточных укреплений.

За цепью двигались колонна за колонной.

Показались и цепи англичан – штурмовать третий бастион.

И в ту же минуту на возвышенности, у одной из батарей, показались оба союзные главнокомандующие, окруженные блестящей свитой.

Утро было восхитительное.

Как только двинулись штурмующие, прикрытие наших укреплений, то есть солдаты, уже были на банкетах. За укреплениями стояли войска.

Все батареи наши вдруг опоясались огненной лентой несмолкаемого огня. Картечь, словно горох, скакала по полю, засеянному, точно маком, красными штанами французов и пестрыми мундирами англичан. Тучи пуль осыпали быстро приближающегося неприятеля.

Люди все чаще падали. Колонны чаще смыкали ряды и шли скорее, торопясь пройти смертоносное про-

странство.

Впереди шли офицеры и обнаженными саблями указывали на наши бастионы, которые надо взять…

Чем ближе подходили колонны, тем ожесточеннее осыпали их картечью и пулями наши матросы и солдаты, молча, без обычных «ура», с какой-то покорной отвагой безвыходности.

Казалось, каждый бессознательно становился зверем, которому инстинкт подсказывал:

«Не убью я тебя, убьешь ты меня!»

И пули летели дождем.

Колонны все идут. Уже они близко, совсем близко. Хорошо видны возбужденные, озверелые лица… Не более пятидесяти шагов остается до второго бастиона… Казалось, лавина сейчас бросится на бастион и зальет его…

Но в эту самую минуту, когда, по-видимому, еще одно последнее усилие, и люди пробегут эти пятьдесят шагов, – энергия уже была израсходована…

Передние ряды остановились. Остановились и сзади… Прошла минута, другая… И колонна отступила назад и укрылась в каменоломнях от убийственного огня.

Но скоро солдаты поднялись и снова двинулись на второй бастион.

Они снова бросились вперед, пробежали «волчьи

ямы», спустились в ров и стали взбираться на вал…

Их встретили штыками и градом камней…

Французы не выдержали. Бросили лестницы и отступили в траншеи…

«Вопли попавших в волчьи ямы, стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск, гром и вой выстрелов, лопающихся снарядов, батального огня, свист пуль, стук орудия… все смешалось в один невыразимый рев, называемый „военным шумом“ битвы, в котором слышался, однако, и исполнялся командный крик начальника, сигнальная труба, дробь барабана».

Так описывает в своих записках один из участников в отбитии штурма второго бастиона.

Про этот же «военный шум», которым вызывают отвратительное опьянение варварством, старик, отставной матрос, ковылявший после войны по улице разоренного Севастополя на деревяшке вместо правой ноги, – так однажды говорил мне, рассказывая про штурм:

– И не приведи бог что было, вашескобродие!

– А что?

– Известно, что… Никаким убийством не брезговали, ровно звери…

И старик, между прочим, рассказал, как в этот штурм он задушил двух французов.

– Такие чистые были из себя и аккуратные… И пардону просили… Царство им небесное! – заключил старик свой рассказ.

И перекрестившись, прибавил:

– Звери и были в то утро. И мы и французы…

Еще два раза выходили из траншей уже два раза отбитые французы и бросались на второй бастион. Но снова возвращались назад, не пробегая и половины расстояния…

Неудачны были приступы и другой французской колонны на Малахов курган.

В первый раз колонна отступила, когда до него оставалось сто шагов.

И начальник Малахова кургана, капитан первого ранга Керн, недаром сказал:

– Теперь я спокоен. Неприятель ничего не сделает с нами!

И действительно, второй приступ был отбит.

Зато батарея Жерве была взята, но затем вновь отнята. И отряд смельчаков французов ворвался в Корабельную слободку. Их пришлось выбивать из хат и домишек, из которых французы стреляли.

Озверелые и французы и русские долго сражались в Корабельной слободке.

Поджидая подкреплений, французы дрались отчаянно. Каждый домик, каждую развалину приходилось

брать приступом. Пощады французам не было. Да они не просили ее.

И солдаты разносили дома, уничтожали людей, бывших в них. Многие влезали на крыши, разрушали их и совали пуки зажженной соломы, чтобы сжечь неприятеля. В одной хате, где французы не соглашались сдаться, их передушили всех до единого.

Неудачен был и штурм третьего бастиона.

Англичанам пришлось пройти от траншей до третьего бастиона под градом ядер, бомб, картечи и пуль значительное расстояние – около ста сажен. Но английские цепи шли вперед с смелым упорством и хладнокровием.

И только когда передние ряды были перебиты, задние поколебались и легли на землю, отстреливаясь. Еще одна попытка разобрать засеки и броситься на бастион не удалась, и англичане отступили в свои траншеи.

К семи часам утра штурм был отбит на всех пунктах.

Союзники не ожидали такого исхода. Они не сомневались, что Севастополь будет взят.

Англичане запаслись разными закусками, чтобы позавтракать в Севастополе; раненый и взятый в плен французский офицер просил, чтобы его не перевязывали, так как через полчаса Севастополь будет в

руках его соотечественников и тогда его перевяжут.

«Один французский капрал, – сообщает историк Севастопольской обороны, – ворвавшийся в числе прочих на батарею Жерве (около Малахова кургана), бросив ружье, пошел далее на Корабельную сторону и, дойдя до церкви Белостокского полка, преспокойно сел на паперть. В пылу горячего боя его никто не заметил, но потом один из офицеров спросил, что он здесь делает?

– Жду своих! – ответил он спокойно. – Через четверть часа наши возьмут Севастополь!»

Как только что штурм был отражен, снова началась бомбардировка.

Только на другой день можно было севастопольцам передохнуть.

По просьбе двух союзных главнокомандующих, объявлено было перемирие с четырех часов дня и до вечера, для уборки тел.

Все пространство между неприятельскими траншеями и нашими атакованными укреплениями было полно телами. В некоторых местах они лежали кучами в сажень вышины.

Потери были велики с обеих сторон. За два дня мы потеряли около шести тысяч. Столько же погибло людей и у союзников во время штурма [69].

---

[69] В два дня было выпущено снарядов: с наших бастионов и батарей

Во время перемирия побежал смотреть «француза» вблизи и Маркушка. Сам батарейный отпустил.

Французские солдаты укладывали на носилки погибших товарищей. Многие любопытные с обеих сторон сбежались поглазеть на врагов. И французские и русские солдаты, разумеется, не понимали слов, которыми обменивались, подкрепляя их минами, но оставались довольны друг другом. Казалось, эти же самые, еще вчера озверелые, французы и русские были совсем другими людьми, которым вовсе не хочется убивать друг друга.

Маркушка во все глаза смотрел на «француза» и, по-видимому, удивлялся, что они вовсе не «подлецы», не «черти» и не «нехристи», какими воображал, стараясь как можно убить их из своей мортирки.

И мальчик совсем изумился, когда один француз, с добрым, веселым, молодым лицом, потрепал Маркушку по плечу, сказал несколько ласковых слов и, указывая на его рубашку, на которой висели медаль и полученный на днях георгиевский крест, спросил: «Неужели он, такой маленький, и солдат? Разве в России берут таких солдат?»

– Что он, дьявол, лопочет? – нарочно стараясь небрежно говорить, спросил сконфуженный Маркуш-

---

девятнадцать тысяч, а с батарей союзников шестьдесят две тысячи снарядов. (Примеч. автора.)

ка у ближайших солдат.

Солдаты только засмеялись. Кто-то сказал: «Верно, тебя похваливает. Мол, мальчишка, а с георгием!»

Стоявший вблизи наш молодой офицер кое-как объяснил, что Маркушка не солдат, а по своей воле пошел на бастион и храбростью заслужил медаль и крест.

Француз пришел в восторг. Он вдруг сунул Маркушке «на память» красивую маленькую жестянку с монпансье и проговорил, обращаясь к офицеру:

– Скажите ему, что он герой… Но только зачем он на бастионе?.. Я не пустил бы сюда такого маленького…

Француз сказал подошедшим товарищам о диковинном мальчике с четвертого бастиона, с медалью и крестом за храбрость.

Они подходили к мальчику с четвертого бастиона, жали ему руку, говорили хорошие слова, которые он чувствовал, не понимая. Им восхищались. Его жалели. Он такой маленький, и сирота, и на бастионе. Кто-то сунул ему булку и показывал на жестянку, словно бы рекомендуя есть то, что в ней.

– Это из Парижа! Ты, мальчик, понимаешь, из Парижа?

Маркушка еще более конфузился и оттого, что «француз» так ласков с ним, когда он, верно, убил не

одного такого же француза, и оттого, что на него обращено внимание…

И Маркушка испытывал чувство стесненности и виноватости. Они должны знать, что он хотел побольше их убить, а теперь… ему жалко этих веселых и ласковых людей.

Но он только снял шапку, сказал: «Адью, француз», – и убежал.

Дорогой Маркушка похрустывал на зубах французские леденцы, закусывал булкой и шел к четвертому бастиону, отворачиваясь от носилок, на которых лежали кучи мертвых…

Возвратившись на четвертый бастион, он сказал Кащуку, только что проснувшемуся и сидевшему у орудия за чаем:

– Вот… Попробуй их булки, дяденька.

– Неси кружку да обсказывай, что видел…

Маркушка принес кружку, которую хранил у мортирки, и после того, как выпил целых две, обливаясь потом, раздумчиво проговорил:

– Тоже и они, как наши, дяденька?

– А ты думал как? Только другой веры, а как наши.

– А зачем пришли? Зачем полезли на драку? – произнес Маркушка, словно бы желая найти причины, по которым «француз» должен быть неправым против русских.

– Погнали их из своей стороны, и пришли… Тоже и у них свой император – и свое начальство…

– Небось теперь, как угостили, не пойдут на штурму… Страсть сколько мы их убили вчера… И трех генералов…

– Прикажут, опять на штурму пойдут. Из-за Севастополя целых девять месяцев бьются и нас бьют… Тоже, братец ты мой, и француз подначальный народ. Может, ему и не лестно в чужую сторону да на смерть идти… а идут… И самим в охотку скорее взять Севастополь да замириться… Силы у их много. Их император всю эту расстройку и завел… В том-то и загвоздка… А люди и пропадают… Пей, что ли, Маркушка…

Было жарко. Петух, прозванный «Пелисеевым» в честь Пелисье [70], лениво выкрикивал свое кукареку, разгуливая по площадке бастиона около нескольких куриц. Матросы отсыпались после суток бомбардировки. Почти все офицеры, обрадовавшись перемирию, переправились на Северную сторону.

Теперь там, за северным укреплением, вырос целый городок из бараков, балаганов, шалашей и палаток. Только там были женщины и дети, которым уж ме-

[70] Пелисье Жан-Жак (1794-1864) – французский реакционный политический деятель, маршал, третий по счету главнокомандующий французскими войсками в Крымской войне. За взятие союзными войсками Малахова кургана, решившее судьбу Севастополя, Пелисье было присвоено звание герцога Малаховского.

сяц тому назад велено было оставить Южную сторону. Туда все оставшиеся жители переселились из города, где уже не было безопасного места. Бомбы убивали даже людей, скрывающихся во время бомбардировки в подвалах и погребах. Слишком уж близко к нашим укреплениям и к городу придвинулся ряд осадных батарей союзников.

Штабные, чиновники, интенданты, отдыхавшие и легкобольные офицеры, приезжие аферисты и предприниматели, торговцы, базарные торговки, солдатки, матроски, ремесленники, отставные артиллеристы и матросы, маркитанты – словом, весь люд, остававшийся в Севастополе, ютился на Северной стороне.

В палатках маркитантов устроили трактиры, куда сходилось офицерство. Рискуя нарваться на бомбу и пулю по дороге, так же как и на бастионах или позициях, офицеры уходили в отпуск с бастионов часа на два, на три, чтобы пожить хоть короткое время в иной обстановке, встретиться с приятелями и знакомыми, съесть порцию чего-нибудь вкуснее, чем «дома», выпить в компании бутылку вина, узнать «штабные» новости о предположениях главнокомандующего и, разумеется, посудачить об его нерешительности, быстрых переменах приказаний и рассеянности, служившей материалом для анекдотов. Нечего и говорить, что немало критиковали и бездействие поле-

вой армии, не попробовавшей напасть на союзников и освободить Севастополь. Вышучивали и начальника штаба. Ко многим кличкам, вроде «бумажного генерала» и «старшего писаря», в последнее время прибавилась еще кличка «генерала как прикажете» и «ганц-акурата». Но уж в эти дни не было прежней уверенности, что Севастополь отстоят. Об этом не говорили, но это чувствовалось… Каждый знал, что в последнее время осады – идет бойня, и сознавал, что не попал еще «в расход» только по особенному счастию…

На Северную сторону часто приезжали адъютанты, ординарцы и казаки с донесениями с оборонительной линии к начальнику штаба, который иногда допускал «вестников» к князю, всегда занятому. Приезжали и генералы с докладами самому главнокомандующему.

Сюда же приезжали с бастионов и за покупками, и для заказов, и для того, чтобы вымыться в бане и хоть сколько-нибудь очиститься от грязи и зуда тела, изъеденного насекомыми, кишащими в блиндажах бастионов.

Здесь – вдали от оборонительной линии с ее постоянным треском и грохотом снарядов, гулом выстрелов и зрелищем смерти – было все, что было нужно человеку, хотя бы и не уверенному, что будет жив через час. Были мануфактурные, галантерейные и бакалейные лавки, портные, сапожники, часовщики, ци-

рюльники, фруктовщики, «человечки», дающие деньги под проценты, и, разумеется, гробовые мастера для тех убитых и умерших от ран или от тифа, которые были в офицерских и высших чинах.

Главнокомандующий еще вчера, тотчас же после отбитого штурма, обрадованный и умиленный отчаянной стойкостью защитников, послал телеграфическое донесение императору Александру Николаевичу, начинающееся следующими словами:

«Самоотвержение, с коим все чины севастопольского гарнизона, от генерала до солдата, стремились исполнить свой долг, превосходит всякую похвалу».

Но, разумеется, главнокомандующий не утешал себя мыслью, что многострадальный Севастополь будет спасен и после нового штурма. Отбитый вчера штурм принес только отсрочку и новые жертвы бомбардировки.

И старый князь мечтал только о возможности с честью оставить Севастополь и торопил постройку моста через бухту.

VI

Отсрочка была продолжительная.

Прошло два с половиною месяца после отбитого штурма. Смертельно был ранен Нахимов. Под Черной были разбиты наши войска [71], делавшие чудеса храбрости. Но отсутствие умного военачальника и путаница не могли не привести к поражению.

«Вступая в бой, главнокомандующий обязан был дать толковые и определенные указания, познакомить начальников толком с предстоящею задачей, со своими намерениями и задачами и затем предоставить им свободу действий. Ничего этого мы не видим в распоряжениях князя Горчакова», – пишет историк Севастопольской обороны…

На другой день после поражения наших войск союзники снова начали жесточайшую бомбардировку, продолжавшуюся двадцать дней. Бастионы разруша-

---

[71] Под Черной были разбиты наши войска… – Стремясь предотвратить очередной штурм Севастополя, Горчаков решил дать сражение союзным войскам, которое и произошло 4 августа 1855 г. на Черной речке. Однако неподготовленность русских к наступлению, бездарное командование определили печальный для русских исход боя. После поражения под Черной русские войска вынуждены были оставить Южную сторону, что и решило участь Севастополя. 28 августа 1855 г. Севастополь пал.

лись. Ежедневно убывало по тысяче защитников.

Последние дни Севастополя подходили… К двадцать четвертому августа неприятель подвинулся так близко, что находился в семнадцати саженях от Малахова кургана и в двадцати от второго бастиона.

Штурм был несомненен. С разных сторон видно было, как стягивались войска союзников. Об этом сообщали в главный штаб армии. Но главный штаб не принимал никаких мер к усилению гарнизона на время штурма и даже не предупреждал гарнизона.

Генерал Липранди несколько раз посылал сказать начальнику штаба, генералу Коцебу, что неприятель готовится к штурму, а начальник штаба ответил, что Липранди грезится во сне штурм. Когда командир одной батареи послал начальнику штаба казака с запиской, что французские колонны тянутся к Севастополю, – генерал Коцебу не обратил на это ни малейшего внимания.

Казак вернулся и доложил начальнику батареи, что отдал записку в руки «Коцебе», и объяснил, что они изволили прохаживаться около квартиры главнокомандующего.

– Что ж, он пошел к князю, прочитавши записку? – спросил моряк.

– Никак нет-с! Они сунули ее в карман, а мне приказали отправиться на место!

Так рассказывал потом в своих записках адмирал Барановский, который сам посылал казака с запиской к начальнику штаба.

Последний общий штурм двадцать седьмого августа был днем гибели Севастополя…

Отбитый почти везде, он не мог быть отбит малочисленными охранителями Малахова кургана… Туда были направлены огромные силы французов. Почти все защитники этого «ключа» нашей защиты были убиты или ранены. Немногие остались в живых… Четыре бесстрашных матроски во время штурма подавали воду храбрецам Малахова кургана…

В восьмом часу на Малаховом кургане взвился французский флаг, а в четыре часа все начальники войск и бастионов получили приказание очистить Южную сторону и перейти на Северную.

Поздним вечером началась переправа войск через мост и продолжалась всю ночь.

А в это время в оставляемом Севастополе, погруженном в мрак, раздавались взрывы. Их производили охотники, саперы и матросы. Взрывы, от которых рушились стены полуразрушенного уже города. Пожар охватывал всю оборонительную линию…

Уходившие из Севастополя крестились, оборачиваясь на город…

– А ты, Маркушка, теперь будешь при мне, – гово-

рил Николай Николаевич Бельцов мальчику, стоявшему рядом с ним на мосту, который сильно качался от волнения.

В восемь часов утра все войска были на Северной стороне.

Рейд был пуст. Все корабли затоплены. Мост был уничтожен.

Утро было прелестное.

Маркушка, отлично выспавшийся под буркой, данной ему Бельцовым, был счастлив и оттого, что жив, и оттого, что не на бастионе, и оттого, что заманчивая новизна будущего застилала от него ужасы прошлого, и, главное, оттого, что ему было двенадцать лет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые повесть напечатана в журнале «Юный читатель», 1902, No 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

В 18-м номере журнала после XII главы сообщалось: «Окончание следует». Однако в 20-м номере, помещая XIII главу, редакция отмечала: «Вследствие болезни автора окончание „Севастопольского мальчика“ откладывается до следующего номера». Печатание повести закончено в ноябре, а в конце 1902 г. писатель уехал за границу, где и умер через несколько месяцев. Таким образом, «Севастопольский мальчик» имеет только одно прижизненное издание.

Тема обороны Севастополя и Крымской войны занимала Станюковича всю жизнь. Мальчиком ему довелось быть не только свидетелем, но и посильным участником Севастопольской обороны. В своем творчестве к темам Крымской войны он обращался неоднократно («Побег», «Кириллыч», «Маленькие моряки» и др.). Наиболее полно и откровенно высказал Станюкович свои взгляды на Крымскую войну в 73-м публицистическом «Письме знатного иностранца», которое, однако, не было пропущено цензурой. Корректурные листы этого письма, почти полностью перечеркнутого цензором, хранятся в архиве Института

Русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом, ф. 432, No 3). Вот выдержки из него:

«…Я расскажу вам страничку из нашего прошлого… Отрывок из личных воспоминаний того времени, когда под грохот севастопольской канонады мы прозрели». «Накануне мы еще верили в силу кремневого ружья (системы) и думали, что все пойдет превосходно.

Я был в то время еще мальчиком, но впечатления живо врезались в моей памяти, и я отлично помню настроение, бывшее в том самом городе, который теперь представляет развалины. Севастополь веселился. Еще накануне самой высадки был бал; большинство решительно не верило в возможность высадки, хотя союзный флот и маневрировал в виду берегов. «Не посмеют! Куда им!» – повторялось со всех сторон». «…Все ложились спать, уверенные, что вся эта военная суматоха пройдет… и снова жизнь пойдет своим чередом». Дворяне будут «веселиться попрежнему, получать доходы с деревень, стричь косы у непокорных горничных, посылать на конюшню дерзких хамов и дрессировать солдат и матросов при помощи палок и линьков». «Культ страха, начинаясь сверху, проходил до низу и казался тогда большинству лучшим средством управления, точно так, как лучшим средством наживы… считалась дойная корова – каз-

на и общий кормилец мужик», который «терпеливо нес ярмо и только по временам на холере (имеются в виду так называемые „холерные бунты“ крестьян, в которых выражался их стихийный протест против самодержавно-крепостнического гнета. – В.В.) вымещал свои невзгоды…»

С известием о начале высадки союзников недалеко от Евпатории, когда дворяне поняли, что понадобится помощь народа – «Тон понизился… Все стали говорить тише и как будто серьезнее… Даже с прислугой стали обращаться лучше те люди, которые до того не знали предела своей помещичьей фантазии… В барине почувствовался некоторый страх».

«Севастополь опустел. Все войска вышли из города, и в нем остался только флот. Страшная деятельность закипела в городе… Матросы на спинах перевозили с кораблей орудия на бастионы…» Защитники готовились к отпору врагу.

Станюкович резко говорит о неподготовленности властей, о страшных злоупотреблениях, об отсутствии необходимого вооружения, медицинского обеспечения. Он беспощадно обличает бездарных главнокомандующих русской армии, пользовавшихся полным доверием и поддержкой царя. Через все Письмо проходит мысль о том, что Севастополь держался только героическим мужеством народных защитни-

ков, которых власти бросили на произвол судьбы. Когда после Альминского сражения солдат «спрашивали о результатах битвы, они сумрачно отвечали, что ружья не стреляют…»

«Наутро я, по обыкновению, отправился со слугой купаться; надо было проходить мимо рынка. Вся площадь была полна ранеными солдатами; кто лежал тут же, кто сидел, кто протягивал руку, прося милостыню. Яркие лучи солнца заливали эту небольшую площадку, покрытую серыми шинелями и большими фуражками. Народ подавал; торговки перевязывали раны, ходили разговоры, что для раненых не приготовлено было помещения, что они ничего не ели… Я никогда не забуду этой тяжкой картины. Помню: торопливыми шагами я проходил мимо одного старого солдата с перевязанной какой-то грязной тряпкой головой; из-под перевязки сочилась кровь… Вдруг слышу голос: „Барчук!“ Я остановился. Старый солдат как-то нерешительно взглянул на меня большими серыми глазами, улыбнулся робкой улыбкой и тихо попросил „на табачок“.

И многие просили «на табачок», скрывая под этой просьбой просьбу на хлеб… Среди шума и оживления рынка слышен был ропот… Солдаты рассказывали, как в них стреляли, а они не могли даже отвечать».

Когда Станюковичи переехали в небольшой горо-

док неподалеку от Севастополя, будущий писатель видел, как через город то и дело проходили войска и там же жило много интендантских чиновников. То и дело привозили раненых… Положение их было ужасно. О злоупотреблениях начинали говорить громче и громче… Рассказывали чудовищные вещи… В народе ходили рассказы о беспризорности солдата… Винили «господ» и говорили, что обманывают «царя»… Передо мной, мальчишкой, не стеснялись… Раненые солдаты рассказывали о том, как с ними обращались и как их кормили, и разносили эти рассказы по деревням… В то же время в нашем маленьком городке шло разливное море. Комиссариат кутил, кутили и офицеры… Кавалеристы, не стесняясь, говорили о заработанных кушах, и, помню я, когда один из молодых офицеров пытался возразить… громкий смех… вырвался в ответ молодому человеку. Выходило, что все «пользуются»… вся Россия крадет чуть только можно…»

Станюкович рассказывает в Письме и об общественном подъеме конца 50-х – начала 60-х годов, непосредственным поводом к которому была Крымская война: «В обществе появились новые веяния… Явились разоблачения чудовищных вещей, творившихся при мертвом молчании. Ликующая стояла новая Россия у порога нового времени, и радость ожи-

дания окрыляла надежды, когда пронесся слух, что мужики будут не только свободны, но и экономически обеспечены… Тогда переживались счастливые минуты. Впереди предстояла широкая дорога новой жизни, иного счастия, иных песен. Я был на пороге жизни, когда появился известный манифест о крестьянах…»

Писатель-демократ сумел не только ярко, увлекательно рассказать о поистине замечательном героизме русского народа, но и вскрыть гнилость крепостнического государства. Правда, вскрыть только объективно, потому что сам Станюкович не мог понять истинных причин поражения России, и, показав вопиющие противоречия крепостнического государства, он сумел сделать лишь совершенно беспомощный и неподходящий к ситуации пацифистский вывод: никакая война не нужна.

В «Севастопольском мальчике» Станюкович неоднократно обращается к работе дворянско-буржуазного историографа Н.Ф.Дубровина «История Крымской войны и оборона Севастополя» (Спб., 1900, «Общественная польза»). Однако писатель берет из этой книги в основном богатый фактический материал, отказываясь от толкований Дубровина и давая событиям свои трактовки, трактовки писателя-демократа. В цитации этой работы Станюкович весьма неточен.